

1. ПЯТЬ КЕДРОВ

Ж

или-были пять братьев. Пять братьев — пять пальцев. Пять братьев — пять кедров. У кедра стать крупная, мясистая: и иголки, и ветки, и шишки — налитые, с запасом и щедростью слаженные. Но если кедр хрупковат и уступает по гибкости и крепости елке и лиственни, то братовьев не сломать, не угнуть. Не зря и фамилия у них старинная — Долговы, и идут они от Аввакумовского смоляного корня. Самый младший Федор, но о нем напослед.

За Федором по старшинству Нефед. Вроде как не-Федор, почему — потом поймете. В Нефеде кедровая стать самая сильная, он хоть и не столь рослый, как Федя, но крепко и крупно нарублен. Густой замес. У волос, бороды двухвостой, усищ нависающих — ость толстая, обильная, масть темно-каштановая в рыжину. Глаза карие и веки особенно крупные в карих точечках — будто йод со смолой навели и кедровой кистью покропили для верности. Для подтверждения плодородия его глинно-черноземной стати. Все подходит для сравнения — и смола, и чернозем... Или конский ряд: как у коня — грива темней тулова, борода темней волос. Постав глаз широкий, и сам Нефед квадратный, коротконогий, кормастый. Но дело скорее в ста-

ти душевной — Нефед полняком пошаманный на корабельном деле. Живет на боковой речке, и там у него верфишка своя. Закачивает листовое железо, сам режет, кроит, сам варит тридцатитонные баржонки, на которые ставит дизеля, все рассчитывает, водомет ли, винт, редуктор. Устройство одно: головастая рубка спереди, а за ней грузовой отсек длиннющий до самой кормы. Забран жестяным в волну навесом, сдвижным, в виде «П» в разрезе. Навес ниже рубки, но выше палубы — тоже участвует в силуэте. Нефед делает на заказ, на продажу. В рубке малиновые диван и обшивка, японские сиденья и руль — хоть кожа. И мотор любой. Как карман позволит. Железо берет с завода. Раньше старожеры везли почему-то железо гофрированное, как шифер, видимо, какой-то канал подешевле был. И шли баржонки с грубо сваренными шиферным носом, который угловато стыковался с шиферными же бортами, и корпус был в лomanую линию. Теперь металл путный, гладкий, загнут породисто в скулках и отделка под самый рояль-салон.

У Нефедки баржа, и он на ней возит по Енисею горючее, а зимой еще и на бензовозе по зимнику работает. Дорожная душа.

Следующий брат Гурьян — тот промысловик. Ни о чем не может говорить — только о тайге и о промысле: «Это мое. Мне как осень — уже в тайгу на-а. Оно в крови». *Завод* у него доскональнейший, и кулемник (а был и плащик), и капканы на земле, на жерди. И обязательно очепы — жердь наподобие журавля, которая вздергивает капкан с добычей, чтоб россомаха с лисой не схрюкали. Но если у капкана на полу очеп не редкость, то очепá на жердущках, прибитых к дереву — только у Гурьяна. Спросите, как на такой высоте очепá ладил? Не поверите — таскал по путикам лесенку. В тайгу задолго до снега попадал.

На вид Гурьян — с того же лекала, что и Нефед, но поровней, посветлей, и настой смолы пожиже, попривычней. Поначалу не знающие близко, путают братьев. Но даже, когда разберешься, странно. Бывает, увидит человек впервой Гурьяна, а потом где-нибудь встретит и вздрогнет: идет вроде Гурьян, да только какой-то густой, набрякший, дико расширившийся, потемневший, и недоумение: то ли сам плохо запомнил — невнимательный, то ли с Гурьяном что-то стряслось — пчелы покусали или отьелся и в дегте измазался. Дивисься, вроде уже видел черты, а тут они выперли, сгустились, укрупнились. Будто два живописца один образ писали — каждый по-своему, один поскупился, другой пощэдрился. «Здорово, Гурьян!» Молчит. Оказывается — Нефед.

Промышляет Гурьян с сыновьями. Те тоже, Гурьян да не Гурьян, пачка копий. Вроде отец, только поуже, и лица посвежей-порозовой, и бородки помшистей. А вообще по портрету Гурьян самый канонический, знакомый: прямое скуластое лицо, брови белые, борода русая, ость витая, крепкая, верхний слой светлей. Глаза серые.

Следующий брат — Иван. Тому к шестидесяти, черты долговские, но только подсушенный, подсутоленный, зубы с проредью, борода поклочковатей, серо-русовая с сединкой. Иван — крестьянин. Живет по реке к югу, где заливные луга. Взял землю, держит скота — коров, бычков, ставит сена горы и поставляет дельцам и частникам молоко, сметану, творог, мясо. Пчел держит. В движениях порывистый по-мальчишески. Иссушенный покосным солнцем, прокопченный дымокурами, изможденный страдой, переживаниями... (То прессподборщик веревку рвет, то завидуемое бичье нетель отравили, то еще что-то...) Но влюбленный в землю, как и положено русскому крестьянину. Он хоть и как пол-Нефедки повдоль, а

зато сыновей у него семеро. Все помощники. Осенью на луговине стынъ, свинцовое небо с запада, ветер с каплями... И вдруг солнышко боковое... И тюки, ярко освещенные — как рулетки лежат. И Иван в белой почти энцефалитке щурится от солнца и кричит сыну, который на тракторе на гребь едет: «На кули-и-гу езжай! На кулигу! Там спёрва вороши!»

Дальше брат Григорий идет. Тому к семидесяти, белый, неспешный, и лет восемь живет в старообрядческом монастыре за Дубчесом. Как зачарованно говорят про него в деревнях не сильно сведущие в вере: «На чистую вышел». Человек уважаемый, в монастыре «наставничат».

Для усвоения материала можно запомнить так: по светлению масти и сходу кражеватости — Нефед-корабельщик, Гурьян-охотник, Иван-крестьянин, Григорий-наставник. С Григория, правда, снова на крепость идет.

Четырех братьев назвал, а пятого не только не забыл, а на самый рассказ и оставил. Федор. Самый молодой, самый статный. Широкое розовое лицо, так же фамильная бородища, только совсем уже лопатой широченной двукрылой, усы старинно-армейские, в сторону торчат остроко-нечно, как прокляенные. Глаза синие. Бровь темная.

По виду должен вобрать самое могучее и лучшее Долговское. А на самом деле настолько другой, что семью смело можно поделить на две кости: братьев и Федор. Помимо верности вере братьевьев объединяет страсть к любимому делу. А Федору нё дал Бог кровного ремесла, либо давал, да тот не взял. И вроде работающий мужик, но ничего ему не интересно, кроме денег: будет соболь в цене — на тайгу все силы бросит, рыба подлетит — в рыбалку уйдет, скажут: извоз в цене — груза возить будет, а сварочные работы — в сварщики подастся. И главное, какое ни будь дело — а видно разницу меж Федором и тем, для кого дело — единственное. Вроде и впрягается Федор — а все не с головой. Не безоглядно.

Соберутся братьевья, о работе говорят, кто какой корабль сварил, зимовье срубил, грабли освоил. А у Федора оно: «А сколь стоит? Сколь заработал? Сколь платят?» Жены уже смеются. У автора сих строк даже раз спросил: «По сколь нынче рассказы отходят?» И еще удивленно и строго покосился, по-беркутячьи — брови темные... Мол, мало чо-то, врешь поди: «Да ну-у-у... Не поверю... Прибедняшься». И с таким видом, что сам бы занялся, если чо. А Иванова жена, язва: «Слышь, Федя. В городе нынче комара сушеного принимают: по пять тыш за кило. Вон Ульянов Угренинов на машину насадал, «крузера».

Нахмурится, наклонит голову, глянет из-под брови орлино и допросит: как звать «приемшыка», какой номер телефона, на чем ездит. Потом и сам засмеется, но так, в пол-улыбки, и о своем нахмурится. Ехали с ним на автобусе в город — все заправки изгладел: здесь девяносто второй столько-то стоит, здесь меньше, солярка столько-то, там столько-то.

Братовья и бьются за заработок, но не так как-то. К примеру, понятно, что ловушками охват больше, и собаки от насторожки отвлекают, но Гурьян скажет: «Да я себе не представляю, как вот с собачкой не побегать по осени!»

Федя норовил ввязаться в дело, пусть и скользковатое, но сулящее барыш. Узнал, что на одной речке лежит емкость пятнадцатикубовая от солярки на берегу — наследство от экспедиции. Нефеду железо нужно, Федя и говорит: «Железо тебе устрою недорого, ты подъедь на своей «лайбе» на такую-то речку, к такому-то месту, загрузим тебе железа».

— Отколь? Как?

— Да так — емкость.

— Дак это ж Степана Густомесова участок, он, поди, на нее виды имеет.

— Да не, я договорился с ним.

Помощников нанял парней. Взяли болгарки, генератор, поехали, распилили емкость, загрузили на Нефеда. А потом столько позора было! И Степан, и все мужики с той речки — видеть не хотели никого из Долговских, «росомах этих». Густомесовы и Большаковы с тех пор, завидя любую похожую посудину, выскакивали на берег и орали лихоматом, кажа кулаки. Степан эту емкость собирался утащить вездеходом и оборудовать под избу, утеплив снутри и врезав дверь на болтах от медведя.

История с емкостью не остудила Федора. По складу он был рыскающий, как соболь, напористо заводил знакомства и к людям относился с точки поживы. Тянулся к успевающим, состоятельным, аккуратно записывал телефоны. Первым из братьев карманный телефон завел. Все совал в карман энцефалитки, нагнется к лодке за веревкой — и тот бульк из кармана в воду. «Два штуки утопил», пока не научился с «имя обращаться». Звонил. Поддерживал знакомства, снабжал рыбой, не спрашивая. Как по разнарядке.

Эффектный. Приезжие, особенно журналисты или москвичи, рыщущие смысла, на него клевали, и он в отличие от остальных собратьев-старобрядцев не сторонился, а в гости приглашал и проявлял «угостительность». Водка не разрешалась, поэтому угощал брагой и резчайшим домашним пивом, подымая кружку с богатырским: «Держите!» Не «давайте!» непонятное, а именно «держите!» Это «держите» особо нравилось заезжим, они его потом сами повторяли, оно было как слоеное: и кружку, и удар держи — не хмелей. Журналистка «с Москвы»: «А вы слышали что новозыбковцы ведут переговоры с часовенными?» Федор: «Не слышали. Держите! Как бражка?» — «Хороша!» — «Вот и отец наш говорил: хороша бражка да мала чашка!» Конечно, и фотографировался с гостями. И даже одна его фотография висела в городе на щите на Металлургов с надписью «Сибирь — территория силы». Орлино глядя вдаль, Федор ехал на моторе на фоне скал, и ветер развевал, забрасывал набок огромную его бороду. Авторы плаката повернули фотографию наизнанку для пушей композиции с округой, и выходило, что Федор левша и «под ево» специальный мотор собрали: рукоять газа торчала не с той стороны. Наподобие, как излаживают под левшу гитару или скрипку.

Федя, в отличие от братьевъев, к вере предков относился расслабленно, за что и имел серьезные с ними беседы. Дошло, что когда те собирались, за свой стол не садили, а ставили гостевой буквой «Т» к ихнему. Там Федя и сидел вместе с гостями. Как мирской. А упрекали за излишнюю рыскливость: «Из-за таких, как ты, нас «мохнорылыми» зовут, — возмущенно выговаривал промысловый Гурьян. — Ты маленько за ум-то берись. А то по тебе и о нас судят».

Хотя при городских Федя, наоборот, форсил и подыгрывал, и про «нашу веру старинную» вещал именно то, что хотели слышать. И сам в свои слова верил и, бывало, мог расчувствоваться, особенно, если много «держать» доводилось.

Но больше было будней.

Слышал Федя о растаскивании буровых «апосля пучи» в конце века. Сам однажды осенью в тайге замороженно глядел, как пер «ми-двадцать шестой» огромную запчасть от буровой, двигатель вроде, и как неделю

гремели с востока, еще что-то тащили в воздухе, штанги какие-то, и как накатывало возмущение, и как обсуждал с мужиками по радию. Потом разговор надолго затих, и вдруг кто-то из дельцов заговорил про брошенные в тайге буровые, мол, заплачу за разведку огромно, и Федор взялся разузнать. Нашел экспедишника, бурового мастера Трошу, обузившего пол-Эвенкии и знавшего все точки.

Буровые находились далеко на северо-востоке. Поехали весной по большой воде на здоровенной резинке с водометом, взяв в долю и ее хозяйина, поселкового коммерсанта. Пришлось припрячь Нефед — чтобы на барже завез горючку и их самих по большому притоку до устья речушки, по которой уже карабкались на резинке с водометом. По берегам чахлый листвячок. Река горная, течет меж тундряков и сопок, и то совсем узко и ровно, то вдруг голый скальный бугор подденет русло округлым сливищем, так что забрались с третьего раза, а двоим пришлось вылезти и пройти по берегу. Ехали долго, останавливались на каждом «вроде том», с Тронькиных слов, месте и поднимались на берег, где тянулась голая чавкающая тундра с чахлыми листвяшками. Все нежно-зеленое. Желто-светящееся. За тундрой вставали голые квадратные горы, лилово-синие с плешинами снега.

Находили остатки балков. Полусгнивший барак, истончившиеся пепельные доски в лишайнике, изъеденный чуть не в порошок алюминиевый умывальник. Все нещадно пережеванное тайгой... Что-то трупное было в этих тонущих в сырости останках, будто они не рассыпались постепенно, а разово были захвачены каким-то слепящим ударом.

Зеленые развалившиеся батареи, ящик с огромным количеством ш-образных металлических пластин, каких-то конденсаторов, будто вроде бы и ценных на вид, а бесполезных. Сгнившие ящики с кернами. Куча снега, студено и роскошно фонающаяся стужей на фоне яркого и теплого солнца. Бродили, им моримые, в привычной уже полусонности среди останков того, что когда-то было сегодняшним, бодро-трудовым и важным, а теперь неумолимой сырью, как кислотой съедалось и поглощалось тайгой. Дерево и железо, и даже пластик — все уходило, кренясь, рушась и растворяясь.

Пнул ржавую бочку на утопанной моховой площадке, навек пропитанной солярой, Троня говорил: «Не, эт не то — это от шнадцатой остатки. Надо выше (или ниже) искать».

Возвращались на реку, поднимались с Нефедом до следующего притока, какой-нибудь Эмбенчи или Делингды, и начинали все сначала. Понимали, что хотя буровые и ничьи вроде, но никто не лезет с такими затеями, и чуяли скользкость. И будто для скраса каждый взял водки, и даже Федор, хотя ему, как старообрядцу, по закону разрешалась только брага и домашнее пиво. И вот ленки здоровенные на пенистом устье Эмбенчей, жгучая водка, сплющенный накось кирпич хлеба, который Пронька отрезал, на себя прижав к груди, толсто и неровно. Луковица, малосольный ленок. Студеная вода из кружки. Белая ночь, такая холодная, что аж колотун берет. Красные баллоны лодки в густой испарине, дрожь в теле. Густейший туман в повороте. Нежная хвоя лиственниц. И снова подъем по речке, и вот уже паркое солнце сквозь бусы тумана, и усталость, и «поспать бы», но времени нет. И снова по стопке, и вроде чуть пододрели, и снова восторженные возгласы. Эх, какая речка! Какая красота! И снова брождения по чавкающим тундрякам, по пружинистому ернику. И снова мчание по порогам. И Пронькино: «Давай здесь!»

В росистой ярко-зеленой утренней стихии туман сеется, птицы поют родниково и первозданно в кустах. Крупный первый комар пропищал. Высокий крутой берег, и в густых тальниках полузаросшая тропинка, только ноги чувят. Литры росы на штанах, и подъем по тропинке, которая уже и не тропинка, а ржавый ручеек, проложивший руслице. И вот — плоская вершина яра — разлетная даль с тундряком и синими горами — если смотреть за реку, на восток. А если от речки: огромная страшная ржавая буровая, забранная понизу выгнутыми пепельными досками. И будто одушевленная и в грозной обиде за свою ржавость. И словно инопланетная.

И запчасти — растающие в напитанную влагой землю, в мерзлоту, на которой в ямках стоит вода, и угол балка, и фуфайка растерзанная с светлым нутром, бутылка, сапог. Разбросанные, углами уходящие в грунт двушкивники, какие-то фланцы, кожуха, ржавые с остатками краски — какой-то темно-розовой. Огромные как раковины половинки блоков со шпильками и круговым отверстиями. Двигатель ржавый до горячей красноты.

Коммерсант, хозяин лодки, давно уже никуда не поднимался, рыбачил себе вдоль берега. Писали список, фотографировали, пропили остатки водки. Шарились потные. Считали роторы, насосы. Троня все бубнил про двушкивники-лебедки. Говорил:

— Пиши! Насос эскабэ-четыре — два штуки. Колодки. Кернорватели. Огловник штанг. Коронки. Баба забивная. Должна быть. Ее нет. Нет, пиши, бабы. Промывочный насос эмбэвэ-сто двадцать. Так, шпindel где? Пиши: нет шпинделя. Ну чо, все? Наливай.

Наслушался буровых словечек и Федя:

— Держи, Троха. За ход шпинделя.

— Давай! А я смотрю, ты хоть и старовер, а водку глыкаешь. Смотри, твои узнают — быстро тебя на шпindel возьмут, хе-хе. Держи...

В минуты передыха за бутылкой Тронька целыми главами рассказывал экспедиционную жизнь, анекдоты про разных чудаков, а все больше страсти вокруг поварихи, у которой Троня был в особом почете (следовали подробности). И как на него набросился пьяный помбура и пер — не остановить. Опешивший Троня «размесил» ему губу, но тот продолжал переть, а Троня, когда «хватанул крови», озверел и «убуцкал» бузотера. Об этом «хватанул крови» он сказал с особой силой, как о проявлении какого-то закона, почти с восхищением, как зачарованно говорят о чем-то таинственном, неведомом, природном. Выходило, что и человежье, и звериное поровну царили в мире, и что даже красота была в таком пейзаже и обе стороны завораживала. Коммерсант одобрительно усмехался. Троня рассказал, как помбур в итоге женился на поварихе, и дошли слухи, что лупит ее, а коммерсант подтвердил, что запросто такое, и что «все теперь», он это дело «раскусил», и все засмеялись, потому что он сказал, как про медведя, который повадился драть скота, и его теперь не отвадишь.

У Федора родовая память о благочестии сидела внутри, не спрашивая разрешения, и при таких разговорах все внутри противилось, но он подлыбливался и терпел. А куда деваться? Бывало, и брат Гурьян, живший в отдельной староверской деревне, приезжал к ним в поселок и тоже сталкивался с мирским. Шел договариваться насчет трактора вывезти муку на берег. И вот у склада на санях-волокуше сидят трактористы и грузчики, молодые ребята. Грязища дождевая, дрызг вокруг. Все курия-

щие, и полтарашка пива идет по кругу. А обложной привычный мат с такой силой стоит, будто сквернословие, парализовавшее Русь, стало обязательным и настойчивым условием жизни, и требовалось уже и от матерей, и от девушек, и от малышей. И строгий Гурьян тоже пробросил средней силы словечко, да так, чтоб и не сгрубить совсем, но и обозначить, что, мол, тоже свой, не чистоплюй какой-нибудь.

Троня привычно бросал окурки. Вокруг стояла весна в самой первой, нежнейшей зелени листовых иголок, салатových стрел чемерицы по серой полегшей траве, учесанной течением. Синие и белые первоцветы, вешающиеся под светлую полночь мохнатые подзакрытые свои бошки. Вода с каждым днем все более прозрачная и проседающая в каменные берега. И лежали средь моха и льда ржавые карданы, электромоторы и догнивающие фуфайки, и Троня был одной плоти с этим разором и, курия, сквернословил с особым вкусом, словно ему доставляло особое удовольствие пытаться Федора на староверскую твердость.

Нашли еще две буровые и вернулись к заспанному Нефеду, который ворчал, что вода «падают» и что сталкивать «пароход» пришлось «два раз».

Федор отослал фотографии и списки знакомцу-дельцу, но то ли состояние «шпинделей» не устроило, то ли еще что-то, но так ничем и не кончилась затея. Да и вся поездка оставила тяжкий осадок и началась неладно. Федор поехал, разругавшись с женой, Анфисой, которая просила не уезжать, пока не посадят картошку. На самом Енисее весна намного раньше, чем в хребте, и охотники обычно отправлялись в тайгу, вспахав огороды, и огороды эти держат и становятся камнем преткновения. Анфиса упирала, что «бурова эта — журавель в небе». А Федора возмутило то, что она поставила на одну доску огород с картошкой и миллионы, маячившие в случае удачи с буровыми. Он видел в этом «бабью» недалекую сущность и кипел от раздражения. И вот он вернулся, ввалился в избу, обожженный солнцем и невыспатый, и Анфиса, давно забыв обиду и соскучившись по кормильцу, бросилась собирать на стол. Федор сказал, что пойдет на «пять минут» к знакомому охотнику, узнать, как дела. У того сидела компания — все либо собирались куда-то, либо откуда-то вернулись. И началось задрванное «Держите», и... в общем, домой он вернулся под утро. А когда из предприятия ничего не вышло, Федор на Анфису еще и озлился и чуть не виновато объявил.

Федя, хоть и удалялся от веры, но как часто бывает у нехристиан, склад имел чуткий к мистике. К своим ощущениям прислушивался, любил рассказывать сны и относился к ним внимательно. И то ли добавился хмельной загул после неудачи с продажей буровой, тяжкое и беспричинное чувство вины, то ли дело и впрямь было несправедное — но стал во сне являться ржавый журавель, буровая, оживающая в грозной своей страхе и скрежетно ломающаяся в погоню за ним, катящимся с сырой горы по ржавому в синий отлив ручейку.

Стала кошмарным видением, а он не мог понять, отчего, и, ругая дельца, жалел потраченных сил. Бывало, буровая догоняет, бьется, как в неводе, сердце Федора, и от трепета и сон будто отпустит хватку, и Федор закричит в просвет: «Это же сон! Это не по правде!» И всплывая, освобождаясь, продолжает поражаться магии приснившегося: «Ну, не может это все быть «просто так», ведь что-то за этим же есть!» Больно подробно, убедительно, а главное, сильно все построено. Понятно, кроме буровой были и другие картины, которые Федор всю жизнь помнил. Еще юному приснился весной в тайге, в избушке девушка с длинным лицом

и светлыми волосами. Была она в изумрудно-зеленой майке, какую он никогда не видел. Сильнейшее впечатление, осязаемое, материальное, оно многократно превосходило по силе воздействия виденное наяву. Проснулся замороженный. И всю жизнь вспоминал. Гурьян говорил, что это бешишко искушает.

Но сны Федора привлекали, он оказывался в них умнее и тоньше, чем в жизни. Являлись какие-то подробности чьей-то речи, меткие соображения в областях, которых он не касался, и даже фамилии приходили, которых не слыхивал. Будто расписывал роли и писал диалоги кто-то более сведущий, чем он сам. Однажды приснилась фамилия Ачимчиров. Тогда еще не убрали радио с длинных волн, и лесные мужики были при музыке и известях. Так вот спустя месяц после сна он услышал по радио: «Руслан Ачимчиров одержал победу в тяжелом весе...»

2. СЛАБОВАСТЕНЬКО

Федор и рад был заработать хоть на чем, но верным оставались лишь рыбалка и охота. Участок его лежал к востоку от брата Гурьяна, еще дальше от поселка, но если Гурьян заезжал чуть не в августе, то Федор тянул до последнего, сидел в деревне, рыбачил омуля, а потом пробирался в тайгу на снегоходе — дождавшись, когда «подбелит тундры». Снега много и не требовалось, и едва подсыпало — трогался по профилям, таща груз.

Брат Гурьян пешком пробегал участок, подлаживал ловушки, проверял дальние избы на предмет медвежьей диверсии, а потом с удовольствием осеновал на базе, бороздя на лодке по красавице-речке, добывая рыбу и птицу, и в зиму уходил довольным и подготовленным. И даже вот что отмачивал: до снега пройдет капкашки и взведет их, чтоб потом только приваду осталось «повешать». Избушки, особенно речные, у Гурьяна были сделаны с особой любовью, основательно, аккуратно, чтоб самому приятно. И вокруг чистота — ни бумажки, ни банки.

Федор же приезжал по снегу и уезжал, понятно, по снегу. По воде заезжал наскоро дров подпилить до комара и особо не прибирался. Летом вокруг все так и валялось — банки, которые собаки растаскивали, собольные тушки. Могла и крыша подтечь. Вся надежда у таких, как Федор, на снег да холод — снег присыплет, проложит, холод скует и все наладит, заштукатурит, как клей могучий. Мудро знать такую спасительную силу зимы — никаких тебе дождей, только крепость и строй. И зачем навес перед избушкой доской внахлест крыть? Жердей накидал, а снег щели присыпал, залатал — и после хоть завали, на полу ни снежинки. Остальные братья за что ни возьмутся — все равно дотошно делают, а этот взвешивает затраты, на сорта делит. Что-то обязательно надо, а что-то так, малым дефектом можно пустить.

Этой осенью Федор заехал по обыкновению по первой пороше — главное было из деревни vybrаться по шевьякам-комьям и гребням грязи в тепло размешанной тракторами и бетонно проколевшей на морозе. По тайге же одолеть требовалось первые километров шестьдесят — дальше шел подъем в плоскогорье, на лбу которого садились снеговые зряди, летящие с юго-запада, и снега было — хоть боком катись.

Поначалу сезонишко неплохо пошел. Федор приехал в первую избушку вусмерть уханьканым. Лесин нападало по его дороге, пропиленной в ширину снегохода. Брат-то Гурьян свою паданку с осени пропилил. А Федор с грузом, с деревни — еще не втянувшийся в таежную лямку, уп-

рел. То и дело слезал, бродил с пилой, раскидывал крыжички. А главное, снега-то немного и прошлогодние пеньки торчат и сильно брыкаются в снегоходную гусеницу. Пружина натяжная мощная стоит, и снегоход переворачивается, выбрасывая седока. И крути его вагой, отцепляй сани, отвязывай вьюк на багажнике — а тот широкий, перевешивает.

В общем, приехал в первую избушку. Дверь открыта, как и оставлял, чтоб изба не прела. По воду сходил в бочажину, раздолбил — вода желтая, как заварка. Собака, Пестря, рядом, у входа лижется. Печка щелкает, из поддувала отсвет рыжий дрожит. Чайник бурлит. Федор напился до семи потов и лежит на нарах. Вдруг слышит кто-то «шебарчит» под нарами, а потом и заворочал: будто через равные промежутки времени силпо выдыхают — такая одышка пунктирная.

Соболь залез в избушку и даже пожил в ней какое-то время, видать, мышей много в ней. А выбежать не отважился — собака за дверью. Федор добыл соболя, обрадовался, увидел знак. В тайге кругом знаки видятся.

Соболек оказался не совсем выходной, *пóдналь*, мездра на хвосте сияя. (Мездра — это подкожная пленка, а в обиходе — шкурная кожа с изнанки. У выходного зверька мездра пергаментно-белая). И по рации бубнеж: соболю вроде пошел, но невыходной. И обсуждение: «Останется — не останется». Выходной — значит, сменивший мех на зимний, ценный.

У Федора на участке соболю не остался. С собакой Федя поохотился, кое-сколько добыл, но не густо, теперь надежда на ловушки. В ловушки соболю не идет, корма полно: шиповник, рябина обливная, мышья задавн-ной. (Хоть в фактуру заноси: «Мышь задавн-ной, среднеупитанный»). «По-годе-е-е, — умудренно-угрожающе говорил Федор обычные в таких случаях слова, — снег оглубет, морозяки прижмут. Как миленький полезешь».

Но не лезет. А Федор и так не любитель таежного затвора, когда сам с собой на беседе, а тут и вовсе захандрил. Представлял поселковую жизнь, вмиг ставшую желанной. Но не столько к жене, к сыну прижаться, а просто — в обстановку, когда не один на один с собой.

Хотя, действительно, обидно — ведь столько сил на насторожку. А он и капканов доставил. Как раз морозцы поджали, Федор жердушки в зимовье готовил — палку размером с полешко выстрогает, цепочку прикрутит, капкан. Даже гвоздь наживит. Пробьет, чтоб показался. Потом в багажник снегохода — и по путику. Остановился у дерева. Затесал плоскость. Древесина мерзлая. Затеска рыжая, со слоями, как на стерляжьей тушке грань, от которой пласт строганины отвалили. Только, как стекло, твердая. Топор не цепляется, норовит скользом, со звоном пройти. Еще и боковиной лезвия шлепнуть досадно. Но затесал и аккуратно, точным ударом топорика прибил жердушку. Бывает, гвоздь загнетса, по витым окаменевшим слоям косо пойдет. Сопя, выправит и снова забьет.

А не ловится соболь, да и мало его. Обычно Федя не особо к молитве обращался, а тут зачастил, идет по путику и перед каждым капканом — «Отче наш». Приближается к капкану — шорк-шорк на камусных лыжах, — и сердце колотится: вот бы из-за залепленных снегом стволов появился висящий соболю с рыжим горлом, бурый с переливом по краю — такого заповедного цвета, что аж до нутра прострелит. Похожий на бутылку — лапа, за которую попал и на которой висит — как горлышко. Меховая бутылка. Так вот, «Отче наш» — и пусто. «Отче наш» — и пусто. А бывает, выворотень черный горелый вертикальным отростком корня обманет. Прошьет неуправляемо, хоть и знаешь, что здесь нет капка-

на. И снова шорок-шорок. «Отче наш». Жердущка прибитая. На стесанном конце стоит капкан прозраченько, напросвет плоско. И привада висит. Чуть качается. Хоть и ветра нет. Зато как радостно, когда помолился, и тут же выплыл из-за заснеженных стволов висящий соболю! Выходит, радовался тайге только когда ловилось. Тогда и даль озарялась — и контраст между голой омертвевшей тайгой без добычи и далью, кричащей от радости — был огромен. До ненависти.

У других: у кого слабо, у кого неплохо. Эфир напряженный, аж звенит. Речь у всех до предела взвешена, годами отточена. Тех, у кого сносно, аж распирает, но сдерживаются, чтобы не слишком самодовольно выглядеть. А у кого плохо, особенно матерые, стараются, не теряя престижу, сказать так, чтоб все равно в свою пользу повернуть. Опыт, настой перелить в способность оценить картину. Или того лучше, предсказать. Так, с прохладцей говорят, будто не о себе лично, а вообще: «Слабая нынче охота». Мол, лучше сам оценю и своей манерой, тоном — гордости не уроню.

Для Федора сиденье на рации превращалось в муку. Изводясь, ждет, кто что скажет, даже «Отче наш» читает, чтоб «Перевальный» крикнул «Скальному»: «Да вообще пусто!» или «Да хрен забил он на капканы! Подбежит, покрутится, еще и кучу навалит, хе-хе. Не-е-е, мужики, с такой охотой, я не знаю... С тем же успехом в деревне на диване лежал бы. Да там хоть баба под боком».

— Перевальный Стариковой Курье!

— На связи, Скальный!

— Ну, чо там у тебя? Есть подвижки?

— Да чо-то вроде зашевелилось. Но... — Перевальный сыто причавкнул чем-то вкусным. — Не знаю, как дальше, конечно. Но чо-то есть. — Чавк.

— Ну сколь снял?

Тот, помолчав, солидно:

— Ну с двух путиков семь штук. — Чавк-чавк.

— Кудряво живешь. Для этого года это даже... я тебе скажу. Я-то вообще со ста двадцати ловушек два штуки. Главное, обе самочки седьмой цвет.

— А где там Ерачимо? Ерачимо! — Чавк! — Ты чо там примерз, что ли?

Отзываться неохота. Рассказывать нечего.

— Да на связи. На связи я, Перевальный, — постно-бесцветно отвечает Федор.

— Чо, как там у тебя на пушном фронте?

— Да глухо, восьмой день пошел, я уж забыл, как соболя обдирать, — Федя отвечал тоном, не то что обиженным, но каким говорят, когда несправедливость. Мол, не трогайте, не бередите. Не хочу. Но без жалкой ноты, а наоборот — в своей правоте. Смотрите, как чувствую, вижу наскрозь план этот подлый. Главное — не уронить достоинства, сохранить, перенести в область прозрачности, и в ней утвердиться, взять свое, невозмутимое. Показать способность не удивляться, словно главный промысел — добыть эту жизненную жесткую правду, упредить, слившись с ней раньше, чем она заест, погубит. Хотя все равно заедала, но хоть не на людях.

Пестря вдруг стал раздражать. Побежал тут по следу соболя, и спустя час раздался лай, да такой громкий, с заливом, что Федор побежал как мальчишка и обнаружил картину: склон увала, спускающийся к тундрочке, на открытом месте (отсюда и доносчивость лая) сидит под кривой на-

клонной кедрой Пестря и лает на глухаря. Называется «скололся» со следа на менее ценную добычу. Такая досада, что пнул с ненавистью кобеля.

— Да нет никово. Бесполезно. Глухаря, правда, добыл. Аж синий, старый...

Начал на все грешить. Спрашивают, как птица? Отвечает: «Да есть птица, есть. Только худая». Спросят, как техника: «Да так-то, тьфу-тьфу, только жрет, как слон».

Пушнины нет — занятия нет. Вечер. Ни сна, ни дремы. Эфир только гудел, но вот все незаметно поутихли, перепрощались, сонно и успокоенно. Тишина, только фон идет, тикает мерной капелью. Было наладится сон — но чуток недобрал слоя, одна мышька проскочила, и тут весь рой ожил, какой тут сон! А спать надо — невыспатым не работа. Сколь там до подъема? Четыре часа, три с половиной, уже три... Катастрофически на убыль идет время отдыха, и чем больше думаешь, как уснуть, тем громче бодрость, и нервы, как лесины, на ветру гудят. И книг, как назло, на базе мало. Божественного не брал с собой, и был всего один журнал «Охота и охотничье хозяйство». Он его раз двадцать прочитал, особенно литературные страницы, и уже наизусть выучил, хоть и сказками отдавали многие заметки.

Так и лежал. Мысли разные приходили, и Федор, бывало, держась на грани сна, направлял, натравливал их на интересное, развлекательное, и они подхватывали, увлекали, и он худо-бедно засыпал. Какой охотник не предствал, как обращался в собаку, взявшую след?! И объединив в одном существе и знания, и собачьи нюх и способность нестись по тайге без усталости, в минуты одолев версту, не оказывался у добычи?! Оставалось только выбраться из собачьей шкуры с оружием и добыть соболя.

«Мне бы, да с моими мозгами... — развивал по радиации знаменитый балагур «Сопка 66» по кличке «Топоришше», — такой бы нюх и ноги, я бы пять планов бы делал!» И Федя, лежа в тревожной полудреме, представлял, как превратился бы в Пестрю, и всю науськивал воображение, чтоб взяло след и увело в самую чащобу сна. Интересней всего, когда нить уже подхвачена кем-то таинственным, а он земным краем сознания еще отдает отчет в происходящем! Момент потери управления начинался сонной бредятиной, голосами, будто кто-то переговаривался, но если слишком в упор это отметить, то все срывалось, и Федя шел на новый заход. Чем больше было таких погружений-всплываний, тем насыщенней казалось пребывание на нарах, и тем сильнее была их сила, которая росла, казалось, чем хуже шла добыча.

Обращение в Пестрю не всегда сулило награду — раз соболиный след вывел на прогалину, где громоздилось страшное заснеженное сооружение. Это была мертвая буровая. Примерно на половине вышки на перекладине сидел здоровенный темный соболина. Федор выстрелил в него из «тозовки», и в этот момент, стряся снег, заскрежетала промерзшая громадина, и постепенно набирая ход — железу нагреться надо — ломанулась за Федором. Он вроде бы начал уходить, и разрыв был хорошим, но лишь страшной становилась далекая лязгающая поступь, потому что точно знал, что догонит. Перед ней и деревья расступались. Просыпался медленно, сам себя вытаскивая — так же раздваиваясь, как при погружении в сон, и убеждая, что все неправда, мол, не оглядывайся и всплывай, всплывай. Но даже и такие кошмары не отваживали от нар и лишь укрепляли привязку, набивали дорогу, и она крепла, узжала, берясь пережитым, как стужей.

Федор встал поздно. Пестря, слышав завозившегося хозяина, нетерпеливо топотал лапами на убитой площадке перед избушкой. Пошевелится Федя — и Пестря затопает крепкими лапами. Замрет и слушает — что хозяин? Обувается. Пошевелился — и снова дробь лап нетерпеливая. И топоток, и подскуливание. И то, что кобель полностью прав, работы ждет — только раздражало. Пестря вообще раздражал — своей простодырошью, слепой верностью. Тупостью: сидит и лает соболя, а где хозяин, плевать — добредет ли, нет. По сравнению с псом образ соболя был Федору ближе: неутомимый рыскун, без глупостей живет, лишнего не делает, как собака не привередничает, морду не воротит, все метет — и рябину, и шиповник, и мыша, и белку, и на рыбу даже идет, а летом и козявку замесит, тут к бабке не ходи. Так что еще подумать надо, ха-хе, в чьей шкуре-то грамотней...

Так и жил не в радость. Мнительность появилась: в другую избушку пойдет, и начинает казаться, что забыл воду вылить из ведра. Или что уголек выпадет из поддувала печки и спалит зимовье. Ворочается. Лопату в руки и снегом засыпает вокруг печки. На другой день пойдет — и не помнит, присыпал или нет. И, конечно, кажется, не присыпал. «Опеть не ладно». Понятно, что можно без конца подозревать себя в забывчивости и идти до сумасшествия.

Стал даже будто болеть, недомогать и пуще стремился из тайги на нары, которые все больше манили. Он их *належал*. Однажды сильно приболел в избушке деревенский хворый их мужик. Мужика родственники вывезли, а Федора попросили: поедешь мимо — забери радиостанцию. Заехал. Избушка маленькая и тесная, в половину нары. На стене ковер с оленями. А на нарах — спальный мешок, фуфайка, тряпки, обертки от таблеток, которыми завален и стол. Все на нарах до такой степени спрессованно, наложено, что напоминало звериное логово. Вот что-то подобное, только без оберток, и у Федора належалось.

Федор еще нашел лежку соболя — в листовни прикорневое дупло. Разрубил и увидел постель: гнилушки, травка, мышинные шкурки. И все перепрелое и до такой степени потусторонне-звериное и тоже наложенное, что как в чужую тайну заглянул.

Вообще в тайге много тайн вылезало. В деревнях и особенно городах семейное, личное скрыто наглухо от глаз и ушей. Кто и чем живет рядом, как звать кого? Одному Богу известно. А на охоте есть радиостанция, и огромная местность так говорит голосами, что у каждого в голове целая карта характеров с подложкой из рек и гор. На топоснове люди-голоса — каждый со своей манерой, повадкой, особенностью — словечками, откашливанием. Из каждого голоса, высокого ли, низкого, напористого или вареного — целый портрет многолетний. Кто-то, ни разу не виданный, с женой заговорил, и тайное, семейное, зазвучало на весь свет. «Слышь, мужики, вы помолчите маленько, щас Старикова Курья с домом разговаривать будет». Притихают, а сами на подслухе. Старикова Курья, басовитый мужик, который всегда на связи и общепризнанно «на подвид диспетчера», всегда знает погоду и все всем передаст. Если дело днем и почти все мужики на путиках, Курья все равно ощущает зал и говорит с поправкой. В таких разговорах никакой лирики, и даже наоборот, и показное бывает. Жена высоким, певучим голосом старается теплое избыное пролить на всю округу, и голос, как рассада, тянется по стуже: «Слушай, а Аленка сегодня как заплачет: папа, папа...» А папа на ветру на вершине сопки, и не хочет, чтоб слова эти простыли, и только отвечает

басовито и все-таки с улыбочкой: «Ну, понятно, понятно...» Мол, ладно, ладно, не выстужай избу, закрой двери-то.

Считается, что семья помогает в невзгодах, но Федора, когда *лежал* — неудачи только отделяли. В тайге его будоражило единственное: вокруг столько дармового, неучтенного, волшебного-живого, что можно пустить в свою пользу, продать или обратить в закуску и раздарить нужным людям. И что он — без свидетелей с этими драгоценностями, и в этом особая тайна, личная, прительная и ничуть не менее интересная, чем семейная. И свои счета-расчеты, что можно превратить столько-то оленей, соболей или рыбин в снегоход или лодку. Или машину. И довершалось это умением не только добыть, а еще и пристроить. Это и давало азарт, и становилось целью, и нарастало самолюбием, что, поди, руки-то из места растут, и добыть умеем, и договориться, и отношения выстроить с миром, пусть грешным, но нужным. И вообще, мы — мужики крепкие, у нас и дома все крепко, так что перед людьми не стыдно. И жена — тоже часть крепости, хозяйства, завода. Со своими, конечно, бабьими немощами-странностями, но тут уж «чо поделашь». Вон Шектамакан — вроде лучший охотник, а, бывает, так «евоная» выведет из себя, что фыркает потом неделю, что «никово баба не понимает».

Федору в голову не приходило, что Шектамакан только на людях харахорился, и целая жизнь шла у него в семействе. Что когда дома, то с женой ездит неразлучно и по сети, по черемшу, по ягоду, и не потому что считает жену куском завода, а потому что она значит не меньше, чем вся тайга вместе взятая. А если и порыкивал на нее из избушки, то вовсе по другим причинам. Чтоб не сбивала с колеи, с круга, с таким трудом выстроенного. Потому что, если о жене будешь думать, то с ума сойдешь, и прощай промысел. Поэтому проще подморозить чувство, на лабазок вытащить из зимовья и понадежней прибрать, чтоб мыши не попортили. Правда, в нелегкий миг не выдержит охотник, занесет узелок, оттаит — и такое навалится, хоть «домой бежи».

У Федора было как? Претило большие чувства вкладывать в семью, и все домашне-теплое, сонно-молочное, где он расслаблялся и терял хватку, казалось враждебным работе, чем-то стыдным, горящим о слабости. Другие-то мужики млели от тепло-молочного, и только на людях гонор разводили, а Федор все принимал за чистую монету и за признак силы, которой самому не хватало. И когда окунался в молочное тайное — стыдно было и жену предавал, будто вечный Шектамакан или Перевальный стоял над ним стоял и следил — настоящий он мужик или нет. А если вдруг жена напортачила в хозяйстве или по связи несуразность вывезла — то краснел от стыда: опозорила.

Анфиса спросила по связи совета, мол, не знаю, что с нетелью делать. Спросила, неумело, стесняясь всех тех, кто слышит, и от этого хуже сбиваясь. И не к месту повторяя: «Как понял, прием». А Федор отрезал: «Ты давай это, хозяйка, сама решай с нетелью». А она тогда про Деюшку что-то пролетела, что он избушку и собачку нарисовал, а Федор закрутил, оборвал почти, мол, ну, ладно, ладно, хватит тут нежности разводить. «Все, до связи».

Им ребеночка только одного Бог дал, сына Дея Федоровича. Хороший мальчишка, маме помогает. Со школы придет, с дровами поможет, по воду съездит на «буране», правда улетит крыльцо все, да сам и расшибется. И так изо дня в день. А дни у хозяйки на один похожи, событий-то нет, и вот уже ноябрь, и радуйся — если б не постоянное чувство одиночества и

забирающего хозяйственного круга, когда одна мысль — не поскользнуться, не вередиться, не заболеть, тем более, на вертолете грипп злючий привезли. Сначала ноги ломит, а потом температура сорок.

Середина ноября... В тайге у охотников целые эпохи сменились, и каждый день — как деревенский месяц по впечатлениям. Взлеты и спуски. Сопка на сопке. А тут равнина. И вот выйдет хозяйка поздним вечером на угор — черно́. Только огромный пятнистый провал до неба — Енисей шугует ледяными полями, грохочет раскатисто и отстраненно. Деревня за спиной, и кажется, ты одна на берегу океана. И даже есть ли дом — неизвестно. Может, привиделся? Может, обернешься, а там ни огонька и одна тайга ледяная? И так жутко, одиноко станет, что хоть плачь. Только молитва и спасает.

Федор и в полусонных своих мытарствах по тайге плутал, а не домой возвращался, считая, что незадача с соболями выставит его худым добытчиком. А что на любовь смелость нужна, тайно понимал, но за это еще больше в себе улеживался. Недолюбленное так и копилось: и жена, и сын, и тайга зимняя серебряная — уже в союзе состояли, как все брошенное. И раз о любви-разлуке зашло: не все охотники ширь имели, как Шектамакан, но управлялись и жили, и любовь хоть какая, но теплым шаром перекатывалась из семьи в тайгу и обратно без ущерба для близких и дальних.

А соболя все не ловились. Однажды Федор пошел на путик особенно поздно и вдобавок в ручей провалился — промыло полынью, чуть дальше, чем он думал, и припорошило снежком, а тот не успел позеленеть-пропитаться. В общем, подмочил лыжи: камус сложно очистить от ледяного чехла. Ножом стараешься скоблить. И надо, чтоб вода замерзла, чтоб морозец. А то будешь у лыжи сидеть, ждать, пока льдом схватит. Федор и ноги подмочил, и вернулся в зимовье. Переоделся. Лыжи, чтоб не повело, засунул в жомы, парные палочки заткнул за специально прибитые брусочки. Включил рацию, и его позвал «Ла́баз», брат Перевального, которого Перевальный посадил у границы участка «форпошшыком», ну и чтоб сети ставил. Перевальный — деятельный мужик, не старOVER, но уважаемый всеми, независимо от конфессий — в голове трудового мужика соседи-работники по сортам распределены, и Перевальный у всех в первых. Лабаз был молодой и чудаковатый, к тому же не таежник — работал в школьной кочегарке. Он никак не мог размочить счет по соболю. Виноват, правда, сам сначала тянул, взялся баню рубить, потом бросил... и начал настораживать с опозданием... И вот сегодня у него попал первый соболь.

— Ерачимо́! — кричал он, срываясь на фальцет. — Ерачимо Ла́базу! Ерачимо́!

«Чо кричать, — раздраженно подумал Федор, — видишь, не отвечают, и нечего орать». И ответил негромко и умудренно-нехотя, будто занят был чем-то важным и особенным:

— Да, Лабаз.

— Ерачимо, слушай... — Лабаза прямо распирало. — Слушай, хе-хе... такое дело... Мне твоя помощь нужна... Я тут соболя добыл! Да главное котяра такой. Слушай, прямо не знай, хе-хе. Слушай, а это... в общем... я хрен его знат, как его обдирать! Помоги, слушай. Я, честно, чо-то это... Хе-хе.

«О-о-о, — подумал Гурьян, — час от часу не легче».

— Ерачимо-о-о! — проблеял Лабаз, — ты где потерялся? Слушай, я

не думал, что он такой здоровый бывает! Лапти такие! Может, это росмага, хе-хе?!

— Цвет какой? — неестественно равнодушно и с надеждой спросил Гурьян, надеясь, что скажет, семерка, желтый, хоть не так обидно...

— Да слушай! Чо-о-рный! Чо-о-рный, веришь ли, как головешка! И ишшо сседá! Аж с искро́й! Вот ведь! И горло, слушай! Горло аж оранжевое, аж горит, знашь, как этот, как апельсин! А я ишшо ворчу. Думаю, не ловится и не ловится! Дак я согласен — пусть сначала не ловится, зато потом такого великана прикутать! Тем более я-то так тут у братухи... Для мебели... А и к доброму охотнику не ко всякому такой запрется! Экземпляр!

— Ну, понятно. Мыши-то не постригли?

— Да нет, он в жердушке был! Еще иду — смотрю, чо-то черное, аж вздрогнул! Еще тащил в рюкзаке, лапа за ветки цепляется, думаю не сломать бы!

«Какого же он размера?» — изъедал себя Гурьян.

— Ну ты мне помоги, ага? Прямо говори, чо да как? А то я сижу, как дурачок, неохота испортить такого... верзилу!

«Сам ты... верзила!» — подумал Федя и сказал:

— Лабаз, у тебя тряпка есть? И чулок?

— Какой чулок?

— Капроновый чулок. Женский. Или от колготков опорок.

— А чулок зачем?

— А обезжиривать чем будешь?

— Обожди, пошарюся на полке.

Пауза.

— Ерачимо! Нашел! Степан тут всего назапасал. Братан у меня молодец, ничо не скажешь. А то уж, я думаю, сейчас «буран» раздергаю, и в деревню, ха-ха... в клуб! Там какую-нибудь марамуху из колготок вытрясу, едри ее за ногу, хе-хе... А колготки в карман и обратно...

В общем, заставил он Федю подробно, с уточнениями и переспрашиваниями, ободрать по рации соболя, да еще при каждом действии в красках комментировал свой восторг по всем поводам: какая у него мездра, «сколь жира в пахах — аж гирлянды, хоть на елку вешай», и какие у него красивые лапы, подушки, хвост, спинка, уши и все остальное. Чуть не усы: лучшие в крае. После обдирки соболя, он так изнервничал, что решил «пружануть бражонки», причем с полной серьезностью спросил Федю, «будет» ли он. И разочарованно-облегченно сказал: «Ну а я пригублю».

— Ты соболя-то напаяль хотя бы.

На что тот сказал:

— Обожди, мне напряжение надо снять.

«Ведь сейчас надрызгается, забудет и спарит соболя».

Эфир наполнялся гомоном, постепенно заглушая голос Лабаза, который уже кому-то другому втирал восторженно про «экземпляр», про такого «котяру, что загляденье!» и про его невероятные стати, согласно которым он должен был давно превратиться в Золотого соболя из сказки. И про свои планы резкого расширения промысла. Он то замолкал, то вступал все более восторженно и путано. Паузы увеличивались, а перед тем как окончательно заглухнуть, он прокричал, какой «басявый» у него денек сегодня, что грех не отпраздновать и что завтра встанет в шесть, нет в пять, и пойдет дупляночек подпилит.

«Сам ты дулялочка! Чтoб тебя в дупло засунуло... Экземпляр!» — только и подумал Федя, выключил лампу и в котopый раз взялся за «литературные страницы».

3. ЖЕРДУШКА

Проснулся он в темноте от двух голосов. Говорили очень громко и будто бы рядом или неподалеку. Голоса были высокие, как детские.

— Тихо ты! Проснулся, кажется.

— Да ты чо!

— Ну, вот ворочается.

— Чо он сюда приперся опять? Жили же спокойно.

Подул ветерок и очень отчетливо скрипнула кедра о наклонную сухую елку. Федор пробно пошевелил передними лапами, вытянул их, чувствуя силу и необыкновенную, мягкую их натяжку. Не хрустнул ни суставчик. Потянулся, ощутив отдохнувшее тело, зуднувшее накопленными силами.

«Крупный кот. Ничего не скажешь», — подумал он так же уверенно, так же невозмутимо, как про соболей, не желающих ловиться. Мол, кого-кого, а его-то на мякине не проведешь, он такой наторелый, что чуть не заранее все видит. И такое предвидел. Сытое это чувство в нем необыкновенно усилилось и обострилось.

— Потянулся! — пискнули снаружи мыши, точнее полевки (охотники зовут мышевидных скопом «мышом», без различия по толкам). Мыши сидели в соседнем кедровом дупле — почти половина кедрин понизу дупловатые.

— Ничо так утречко! — крэкнула кедровка. Федя теперь очень хорошо все слышал, причем не столько громко, сколько обильно, остро и так, что каждый звук был, как утренний месяц — отдельным и тонко-врезанным.

— Ну, чо нажидать? Лежи не лежи, а на путик-то надо.

И он аккуратно выбрался из дупла. Осязание, обоняние, слух, зрение, вкус — все усилилось и заострилось, как лезвие. Добавилась какая-то новая острота участия и стремительность, единство решения и действия, помысла и движения. Позыв прыгнуть, повернуть голову приходил сразу по всему телу, а не как раньше. Сначала мысль: «А пойду-ка я сперва простучу лед топориком», а потом уже решение: «А теперь ступлю. Ногой». Нет — теперь все шло быстро и ладно. Но была и важная разница. Раньше Федя, о чем-то думая, хватал краем еще десяток соображений, и было ощущение обзора, запаса, хранящегося в голове. А теперь мысли то оставались прежние, но в его небольшой остроморденькой головенке помещалась одновременно всегда только одна мысль. Среднего калибра. Остальные были будто в запасе: не то в лапы залиты, не то в дупле лежали, не то рядом ли бежали. Непонятно.

Меняться они могли быстро, но не входили в спор, и была исключена возможность обсуждать с самим собой этот случившийся замес человеческого и звериного. Царящая мысль была в монолит слита со стремительным, красивым и здоровенным котяркой, темным, с сединой и со светящимся оранжевым горлом.

Выскочив из дупла и услышав, как ширкнули в корни мыши, он, мгновенно внедрясь в обстановку, трепещущую звуками и запахами, побегал к своему путику. За ночь округу засыпало свежим снегом, будто в подтверждение, что новая книга открыта.

По дороге он попытался подбежать к рябчиной лунке, но рябчик ракетно вылетел, и тотчас с полянки оглушительно поднялся весь выводок и расселся по елкам. Запах он чувствовал, но рябчики исчезли. Они были, как короткие мысли, которых не надо додумывать — затаилась и ладно. У Федя и раньше случалось, подлетит соображение и то одним боком повернется, то другим, и думается: ты бы не вертелось, не путало. А оно пуще вертится, перья топырит, хохолок, и на него еще всякие подлетают, спорят, морочат. Беспокойство одно. Лучше бы тихо сидели.

Федя выбежал на путик, протоптанный снегоходом. Прямоугольная канавка была плавню обведена свежим пухляком. Федя оказывался теперь в ее низу и края канавы видел из-под низу. Снег был настолько пухлым, настолько свежесозданным и такого крупного помола, точнее, поморозки — что состоял из синеватых игл, перекрещенных необыкновенно просторно и воздушно. Иглы были то мохнатые, то граненые.

— Так... Крючок, крючок... — Федя подбежал к капкану, посмотрел по сторонам. — Надо сухой, хотя неизвестно еще, как лучше... Таскать этот дрын по путику? Еще и кедровки просмеют. А с другой стороны, каждый раз палку искать...

Запусканием капканов называется их рассторожка, *захлапывание*, как иные говорят. Федор-охотник запускал специальным железным крючком, похожим на плоский костьль. Костьль был вделан в расселину на черенке деревянной лопатки. Такая лопатка имеет длинный черен и используется как посох. Лопать ее изогнута, как ложка, чтоб удерживать снег.

Теперь предстояло приспособить подобие. Федя нашел сухонькую пепельно-серую еловую палочку, взял в зубы и, подойдя к капкану, стоящему в дуплянке, аккуратно тыкнул палочкой в тарелку. Капкан сработал так оглушительно и резко, что Федя подпрыгнул. Но потом спокойно, мордочкой к лесу, съел приваду — кусок рябчиной спинки. Потом пробежал к следующей дуплянке, подобрал еловую палочку и снова запустил капкан, и съел отличную глухариную шейку с черным перышком. Пробежал дальше, обойдя кулемку: безопасность прежде всего — только капканы на земле и в дуплянке, никаких кулемок и жердущек: слишком сложны в запуске. Четвертой ловушкой был капкан на земле в основании кедра. В загородке из жердей и с пихтовой крышей. В глубине, за капканом, лежал объединенный до косточки кусок глухарятины в точках мышинного помета. В корнях жили мыши. Федя уже сбил первый голод и брезгливо пропустил ловушку. Зато в следующей дуплянке ждал кусок глухариной грудины с отличным пластом белого мяса.

Федя потрусил дальше, слыша переговоры синиц по поводу его занятия и пуская мимо: всех слушать — уши опухнут. А они нам пригодятся. Вдруг... на дорогу выбежал соболиный след. Федя как вкопанный замер. «А ты еще кто такой?!» След был ночной, небольшой. Самочка. Он попрыгал по следу — изгибаясь по-соболиному — складываясь как варешка. Раздражение и возмущение сменилось расположением: пах след чудно, очень милой и аккуратной показалась сама побежечка... Федя встрепенулся и напряжился — впереди раздавалось позвякивание капкана, живое биение, сухая поскребка коготков по дереву. Он побежал и увидел в жердущке, прибитой к рыжей зарубке на кедрé, соболюшку. С капканом на передней лапке она сидела на кончике жерди.

— Соболя, миленький, выпусти! Пожа-луй-стaaaa! — залилась плачем соболюшка, — Придумай что-нибудь, пропадаю!

И Федя, настроившийся ревниво и поучительно, аж мордочкой дернул от досады: «Вот угораздило!»

— Да погоди, не верещи, тихо сиди, не хватало еще Пестря учит. Тогда уж точно пропадешь, — заворчал Федя, не представляя, как разжать пружину, плоский ласточкин хвост. — И как тебя угораздило!? Не видишь — железо! Лапка ты...

«Хуже некуда. И жалко, смотри, какая приглядная. Ну как сделать-то? Как? Кедрина, если б упала на пружину... Да куда там! Если б еще на полу капкан был. А тут на весу. Упереть некуда».

— Ой, пропаду, моя! Мороз даванет — и прощай! — не унималась Лапка. — Ты же такой большой, красивый, ну придумай что-нибудь-у-у-удь! Пусть я тебе на поругу, но и в воле твоей!

И она, дернувшись, сорвалась с жердушки и, бренча цепочкой, забилась на весу, закручиваясь, складываясь и пытаясь сама по себе залезть.

— Да успокойся ты, вздохня! Сиди тихо, а то уйду. Тихо сиди! Не рыпайся.

— Все-все-все, моя. Сижу, сижу. Только не убегай.

— Вот и сиди. И так полтайги взбаламутила.

Неподалеку стояла пихтовая сушина, квадратно по волокнам издырявленная. На ней сидели два трехпалых дятла. И, видно, на суматоху, шелково-шумно подлетел и подлип к пихте Желна. Здоровенный черный дятел с красной головой.

«Доверещалась. И без твоего цокота тошно. Чо делать, ума не приложу. Совсем уж глупость... А и глупость придумаешь, когда выхода нет. Какого-нибудь волка выцепить, чтоб капкан зубами разжал... Да н-но. Тот в жизни не притронется к железу! Чо смеяться? И вообще, тип мутный. Связываться с такими...»

— Ну, что? Что? Ты придумал? Может, волка? — пискнула Лапка.

— Да какого волка?! — раздраженно прищипнул Федя. — Я вот думаю... — Он оглядывал тайгу: — Я вот думаю... вот если оленя... Они и ребята нормальные, ну и найти проще, где-нибудь на тундре шарятся. А главное, тут хоть понятно, как действовать.

— Но, — сказал Первый трехпалый дятел. — Так-то... можно попробовать.

Все три дятла уже подлетели поближе и сели на обломыш еще одной сушины. Феде даже показалось, будто они воткнули свои клювы в деревину, как ломы или лопаты, и те остались, словно насадки какие-то. А сами, чуть не облокотясь на них, судачат:

— Да ково пробовать? Где олень однерку одавит!? — фыркнул Второй Трехпал. — Чо собирать-то?

Лапка попала в капкан первого номера. Вкруг этого зашел и спор.

— Смотри, какой олень — парировал Первый Трехпал, понимая, что прокосячился.

— Да хоть какой — бесполезно.

— Ну, коне-е-ечно, — передразнил Первый, поеживаясь, и забил, как клювом: — Спокойно одавит однерку.

— Да в жись не одавит! — Второй даже хрюкнул и весело оглядел присутствующих, качая головой, мол, видали упертого.

— Ну, двух тогда ставь! — гневно крикнул Первый. — От проблема-то, едрим-ть.

— Да ково двух? Будут задами толкаться. Еще и соболя стопчут.

Тут Желна, очень веско и медленно, откашлялся и с паузами отмерил:

— Олень никогда не одавит однерку. Нолевку — куда не шло. Еще какая пружина. А однерку... ни в жись, — и презрительно замолк.

— Да я чо и говорю, — сказал Второй Трехпал, — нолевку, да, согласен. А все, что больше — только сохатый.

— Мужики, — снова вступил Желна, будто не слыша и не признавая, что про лося застолбил Второй Трехпал, — не пойму я вас, чо вы хреновиной занимаетесь. Сюда наа сохатого, бычару сытого. Тот одавит. А так бесполезно. Ладно, я полетел.

— Да погоди, полетел, — возмутился Федя. — Там вот край тундры след был вроде свежий. Слетай глянь — может, там он.

— А мне это наа? — презрительно сказал Желна. — Сопли с вами морозить.

— Слышь, ты, долбень, — вышел из себя Федя. — Ты языком своим липучим можешь хоть сколь молотить, а я те дело говорю: будь другом, слетай. А я тебе помогу, глядишь.

— Да чем ты мне таким поможешь? — кобенясь, затынул Желна.

— Ой, невозможно, мужики! — закричала Соболюшка. — С вами точно заколешь, пока договоритесь! Ой, пропадаю! Спасите-помогите-замерзаны!

— Она дело говорит. Совесть-то поимейте. Я тебе расска... — он снова обратился к Желне, но Второй не выдержал:

— Да давай я сгоняю. Этот вечно... — кивнул на Желну. — Только языком...

— Мурашей стращать, — поддакнул Первый.

— Сгоняй, а я тебя научу, как, например, в ловушки не попадать. А то я знаю, вашего брата сильно много в кулемках гибнет.

— Да лан, разберемся, — крикнул Второй и улетел.

Минут через десять он вернулся и сказал, что в осиннике стоит сохатый, «здоровенный бычара, рога, как лопаты, еще и фырчит».

— Сиди, — сказал Федя Лапке. — Щас все сделаем. Главное, не дрыгайся — лапу загубишь. — И побежал, слыша удаляющийся разговор:

— Олень никогда не возьмет «однерку»...

— Да ба-рось ты. От у нас в запрошлом году...

Желна никуда и не двинулся.

А Федя увидел картину. Здоровенный сохатый стоял и, несмотря на мороз, лызгал упавшую осину. Аккуратные свежие бороздки украшали оливковый бок. Рога Сохатого были великолепны, в пупырышках, желтые в лопате и буро опаленные с боков на отростках.

— День добрый, хозяин! — солидно сказал Федор совсем из-под низу.

— Смотри, как обрабатываю, — не поворачивая головы, ответил Сохатый откуда-то сверху. Потом отошел и посмотрел на расстоянии. Темно-коричневый, он весь колыхался, ходя ходуном, поднимая длиннющие белые ноги, словно они были на веревках — штанги какие-то, враз и не переставишь.

— Нормально. Слушай, помоги тут, а я тебе расскажу, где соль взять.

— Я все-гда го-во-рю, ххэ, — очень неторопливо и веско говорил Лосяра с придыханием. — Что все дело в инструменте, ххэ. Если путный инструмент, — и он снова полоснул кору, — то что мороз, что не мороз. Один леший.

«С таким мастером она точно загнется» — подумал Федя.

— Помоги, а? Здесь рядом. И делов на пять минут. А я тебя научу, как под пулю не попасть. Капитально научу.

— И как? — сказал Сохатый с воспитывающей интонацией. С придыханием, с рабочим кряхтением он перебрел через ствол, не спуская с него глаз: — Под пулю не попасть?

— Да расскажу все. Слово. Только сначала надо освободить соболушку одну.

— Откуда освободить?

— Из капкана.

— О-о-о-о! — затянул вдруг Сохатый неожиданно категорично и зачастил очень тудно: — Не-не-не! Не-не-не! Даже-даже...

— Да чо ты испугался?

— Да к чему мне неприятности эти!? Капканы чужие тем более... Не-не. — И он отвернулся, помолчал и, продолжая сопеть, сказал прежним тоном: — Ты давай-ка стрельни оттудова... Ровно ли бороздка легла?

— Да мои капканы! — выпалил Федя. — Мои! Погнали!

— Той-той-той... — вдруг с невыносимой уже основательностью остановил Федю Сохатый. — Какие такие твои? — допросно попер, не отрываясь от осинового бока: — Ты кто такой?

— Я Федор... — «И зачем я ему рассказываю!» — в отчаянии думал Федя. Но чутье говорило, что тянуть нельзя.

— Той-той. Той... — замер Сохатый, вперясь в осину.

— От те и «той». Хоть голодный, хоть сытой. Я — Федор. Да! Я превратился в соболя, — выпалил он, краем глаза и ушами исследуя, слышит ли кто его слова. Наверняка какая-нибудь кедровка притихла и замирает от восторга и предвкушения...

— Той-той-той, — еще раз обойдя осину и еще внимательнее вперясь ей в бок, сказал Сохатый. — Смэ, как ровненько. Лыска должна быть ровно восемь миллиметров. Тогда такую осину хоть куда... Ну-ка, стрельни. Давай-ка отскачи туда... Я вообще люблю, когда все по пути.

— Да какие миллиметры, там Черная Лапка гибнет! — крикнул Федя и добавил отчетливо: — Ты можешь туда подойти и на эту пружину наступить? Я с тобой рассчитаюсь.

— Той-той-той... Значит, как под пулю не попасть. Да? — совсем замедлил речь Лосяра. — А мне на кой, если Хведора-то нет теперь! Ну? Мне чо его пули-то? — И вдруг посмотрел на соболя и зычнейше фыркнул: — А!? — Да так, что Федя подскочил. Лось был огромен и нависал, как бурувая, на бесконечных своих ногах.

— Я тебе расскажу, как мой брат Гурьян ходит, как его собака работает и где стоять лучше — куда он вообще не ходит. Вообще! И про Перевального. И скажу даже, когда он весной на участок ездит.

— Той-той-той. Давай так... Превратился в соболя, да? А он где тогда? Соболя? Где он есть? А? — снова рявкнул Сохатый. — Соболя был? Был. А теперь ты вместо него. Ты его что — из шкуры выжил? Х-хе... Я чо — не понимаю? Значит, он где-то бегать должен? Без шубы. Так? Или, может, его спецом под тебя сделали? Соболя? — И успокоенно подытожил, пристально пялясь в новую риску: — Вот это меня волнует. Я люблю, чтоб все досконально было. Смотри, какой бок!

— Да леший его разберет! С шубой, без шубы!.. — кричал уже Федя. — Давай потом. Давай ты освободишь Черную Лапку. А там поговорим.

— Да не вопрос. — сказал Лось, и Федя с облегчением вздохнул, а Лось добавил:

— Только сейчас мне с осиной разобраться надо. Давай после обеда. Завтра.

— Какой после обеда!!! Она погибнет же!

— Той-той-той, — снова затянул Лосяра, отсутствующе и совсем прилизавшись к осине.

— Кстати, у тебя рога отличные, — уже от безысходности бросил закидушку Федя.

Лось самодовольно хмыкнул. Мол, ясно-понятно. А Федя спросил честнейше:

— А ты пробовал ими жердушки отрывать?

— Жердушки? — вдруг неожиданно быстро произнес Сохатый и впервые взглянул на Федю.

— Жердушки. Там же капкан на жердушке, его же на пол надо спустить.

Лосяра застыл.

— Надо попробовать, ты же не пробовал. Там, кстати, осины вкусней.

Вдруг Сохатый очень медленно зашевелился и, постепенно наращивая скорость шевеления и перестановки своих ходулин, побрел в сторону Лапки.

Когда пришли, Лапка сидела комочком, онемев от отчаяния. Первый Трехпал подлетел к Феде и сказал:

— Мы тут скумекали: ведь еще и жердушку отдирать надо.

«Вот дятел и есть дятел», — подумал Федя:

— Давай, работаем! Лося, смотри Лапку не прищими. А то знаем тебя... Щас, Лап.

А про себя подумал: «Орясина осиновая».

Дятлы снова подлетели:

— Интересно, возьмет с первого раза? — вякнул Первый.

— Бесполезно, — сказал Желна. — А если и возьмет, то гвоздь останется...

— А те чо гвоздь? — бросил Второй.

Сохатый замедленно перетек к жердушке, некоторое время подлаживался рогом, искал угол, упор и потом как-то неожиданно и быстро рванул так, что она мгновенно отлетела — только гвоздь скрипнул отрывисто и заскорузло-морозно.

— О, нормально! — обрадовался Лось и мотнул головой: — Еще скрипит ково-то!

— Ну, все! Вставай сюда! — крикнул Федя, но Лось уже говорил:

— Теперь крышу, обожди.

Над жердушкой была прибита на тонкий гвоздь рогулька. На ней лежала берестина, завившаяся и обхватившая с двух сторон отростки рогульки. Крыша защищала капкан от снега.

— Да какую крышу? — вкричал Федя.

— Не-е-е, — говорил мечтательно Лось, — хороший инструмент — это полдела. Мастерство, конечно, тоже... Ну. Какая рогулька крепче? — отрывисто сказал Лось (намекая на свои рога) и, оглядев присутствующих, сборманил пополам рогульку. Одна половинка, одинарная, осталась на гвозде.

Дятлы прыснули со смеху. Лось стал ее отковыривать. Соболюшка сидела комочком, засыпая и клонясь набок. Лось отколупал остаток рогульки и сказал:

— Не, ребят, не знаю, как вы без рог живете... — и вдруг бодро спросил: — Следующая далеко? — и сделал движение по путику.

— Той-той-той! — закричал Федя! — Какая следующая!? Сюда иди! Еле уговорили, можно сказать, подвели, установили, будто это была сложнейшая конструкция, буровая какая-то...

— Так, а ты тут откуда? — вдруг заметил он Лапку. — Не знал, что они в сборе идут...

— Дэвэй, дэвэй! — раздраженно частил Федя. — Вставай сюда! Лось, наконец, встал, куда надо, но его морда оказалась напротив небольшой рябинки, и он принялся ее заламывать зубами:

— Конечно, не осина, но смотри, как надо...

— Убийство! Можешь сюда наступить?

— А?

Требовалось стать задним правым копытом на пружину. Сохатый вроде и понимал, но то соскальзывал копытом с пружины, то наступал на нее не по центру и с такой нелепой силой, что капкан выворачивался, падал на бок, и бедную соболушку буквально как плеть бросало о снег, и она вскрикивала.

— Ты его подстучи сзади по ноге. У копыта.. — крикнул Федя Второму Дятлу. — Там щикотное место. Осторожно. Смотри, дернет — убьет ее. Так. Давай! Еще. Еще!

— Ты не забудь соли пару мешков, — вдруг вывез Лосяра.

— Будет соль! Все будет! Дятя, смотри, чтоб он Лапку не стоптал! Теперь, подними ногу! Да не эту!!! Наказанье! Да! Ставь! Да. Так, сначала нашарь, нащупай! Да не дави! Нащупай! (Тюкни его!) Во! Все, — крикнул Федя, — дома! Теперь весом! Весом! Есть — на морде шерсть!..

Лапку Федя отправил в свое гнездо, туда же унес запас привады. Лапка ничего не говорила, только прижималась головой к его плечу и плакала.

— Живи у меня, кором есть, — сказал Федя.

— Нет, нет! — твердила Соболушка. — На что я тебе *такая!* Вот лапку залечу — вернусь! У меня лежка у Нюрингде.

На следующий день Лапка убежала и как-то сразу отдалилось, ушло поле обаяния. Все-таки гон у соболя позже, да и поважней дела были. Лапка ушла, но тоска и беспокойство остались, хотя не мыслями, а ощущением проникали в голову, в которой всегда одна мысль лежала. Давила, как каменная плита. Видимо, звериное настолько усилилось, что человечье под гнетом засочилось, зашевелилось, как бывает, когда совсем выживают, а места в обрез и за каждый кубик бой. И вопрос — или совсем уйти, или отстоять пространство. Трудное дело.

4. В НЕБЕ НАД ЛЕСОМ

Федя заметил, что чем больше чистит капканы, тем сильнее входит во вкус. Иногда, конечно, он и перехватывал мышку для разнообразия и сугрева, но больше пасся на путиках — нравилась легкость, да и азарт в работе с дармовщинкой пришел. Принаглел соболек. Прижирел. Еще и сеноставкам наказал:

— Вы мне эта, сена притащите в дупло. Хвоща помягче. Ясно излагаю?

— Ясно.

— Ну вот. Работайте.

В тайге всю обсуждалось происходящее. Кедровки, кукши, белки, летяги, не говоря о мышках — все подкармливались привадкой, а тут, видя

такое дело, забеспокоились. «От ить полоброжий! Он чем больше путики чистит, тем больше ись хочет. Затравился. Этак он всю приваду прикончит», — переживали они за приваду, будто она ихняя.

А соседние мыши нарочито громко заговорили:

— А интересно, он сразу побежит посмотреть, что там у него дома творится? Или еще жиру доберет? Н-да... Говорят, жена-то его... того... хе-хе...

Только ворон, пролетая, сказал:

— Дурью не майтесь. Так он при деле и вас не трогает. А приваду кончит — за вас возьмется. Маленько дальше носа глядите!

Федя все слышал и вздрогнул... Его как лесиной огрело. Шарахнуло. И стало будто размораживать, забирать открытием: оказывается, с самого момента пробуждения в дупле ему больше всего на свете хотелось поглядеть, что творится дома. Словно раньше его и близких только тайга разделяла, а теперь что-то гораздо большее, огромное, сильное и неизбежаемое — целая стена вставшая. Желание будто специально таилось, чтобы теперь с головой и брюхом забрать. Даже представить себя без него было дико. Хотя он и не представлял, а только чуял.

Желание это состояло из двух желаний: из тоски по близким, обострившейся после пробуждения в дупле, и еще очень важного ощущения. При всем своем упрощенном устройстве, соболиной мироподаче не отпускало одно чувство: что где-то там, в избушках, существует настоящий Федор. И желание взглянуть одним глазом на дом было именно с этим и связано: мол, все-то знают, что Федор-охотник в тайге, а он-то, Федя-соболек, и *подглядит*. Обманет расстояние. Но это одно. А вот тоска по близким была сильней и безотчетней, и нарастала из подспудного, из той области, как птицы румбы чуют и рыба на нерест идет в единственную реку. Словно то глубинное, чему он не давал ходу, само за него решало.

«А у брата Гурьяна... через которого ийти... У брата Гурьяна... там богато должно быть. Брат и приваду обновляет чаще, и куски не жалеет. Да и разнообразье — я тебе дам. Все пробует, и рыбу даже, и ондатру. Кстати, рыбки чо-то охота. Да и в дорогу отъестся надо. Мало чо дальше». Федя прекрасно понимал, что у брата и собак больше, и народу — Гурьян охотится с сыновьями. Все исхожено, изъезжено и избегано. «Хороший огород нагородил. В общем так: в дупла и корни не улезать — выкурят. Можно в сопки уходить, в камни. Прятаться на деревья, лучше в елку, и сидеть тихо у ствола, следить за охотником. Смотреть в оба. И всегда! Всегда быть с противоположной стороны ствола. Да! И на фонарь не смотреть! Ни под каким видом. Чтоб меж глаз не получить. Скорей всего брат пойдет сюда искать меня, я на связь не выходил, а обещал. Это, конечно, нам на руку. Да и вообще — на таком участке именно *меня* найти, самого ушлого — это как иголку в стогу сена. Ну, вот так как-то. В общем, четкость, взвешенность и скрытность. Все. Вперед».

У брата Гурьяна стояло около двадцати избушек, и по-хорошему надо было его участок обойти. Но Федя не хотел бежать лишнего, да и обильные путики манили, какой-то даже зуд был на брата. Федя всегда завидовал его любви к промыслу, чуя в ней силу, от него укрытую.

Федя, видимо, чересчур уверовал в свое знание повадок охотника, и не ожидал, что братнин огород будет столь плотным. На участке охотились трое, у каждого по три собаки, всего девять. Сначала шло гладко. За два дня отработал два путика, а потом вдруг именно в это место приехал Гурьян. Оказалось, осенью с сыновьями срубили здесь новую избушку, а ему не сказали зачем-то. В общем, Федю погнали Гурьяновы собаки, и он

залез на толстую и густую елку, которую специально выбирал, рискуя промешкать. Схоронился в самую середину высоты, где еще густо, но далеко от полу. Брат никак не мог его добыть: соболь очень тихо перебирался, переползал змеино вокруг ствола по веткам, буквально обтекая его и вжимаясь в шершавую смолевую чешую, так что капли смолы влипали в ворс — но уж тут не до шубы. Гурьян и выглядывал — всю шею вывернул, и выстрелить зверька пытался — бесполезно. Один раз пулька прошла вплотную и оторвала коготок на правой лапе, и лапу ожгло-контузило — но все не в счет и только собрало. Собаки охрипли. Гурьян серьезнел. Движения становились отрывистей, как-то резче. Один раз Федя видел, как тот остановился и помолился. Даже шапку снял. Открылись потные волосы, подлипшие вокруг головы, и из-за этого особенно широкая борода. И крестился споро, размашисто и особенно кверху, с захлестом до края плеча закидывая двуперстие и словно сгоняя кого-то. И потом снова медленно-медленно шел по кругу, высматривая в елке. Глаза слезились, оттого что не моргал и не вытирал. Натоптал целую площадку, кольцо с веером лыжных отпечатков. Подходил несколько раз к елке — стучал топориком. Потом запалил костер и пил чай из консервной банки от горошка. С галетами. Продолжалось это полдня. Так и брел по кругу, заворачивая носками лыж, переступая носками. Заломя голову. Был с «тозовкой» и истрелял патронташ пулек, и еще запасную пачку почти кончал — оставил пулек десять на крайний случай.

Под вечер тихо подтархтел на новом четырехтактном снегоходе Гурьянов сын и Федин племяш Мефодий. Розовое лицо горело даже в сумерках, но набравшая силу моховая борода белела куржаком:

— Тятя, ниччо не пойму, — говорил он с жаром, — до базы доехал, вроде как оттуда следдев нет. Кобель там сидит. Снегоход там. Карабин и «тозовка» — там! Он куда ухорониться мог?

— На лыжáх ушел?

— Да ты понимаешь, тятя, он за день до снега в ручей оборвался — дак лыжи так и висят в жомах. А голицы старенькие под крышей. Я тоже думал по воду пошел и в полынью оборвался. Нет вроде. Да и ведро с водой стоит.

— Разморозило?

— Но. Копец ведру.

Через полчаса прибежали собаки, с ними Пестря, который, как показалось Феде, особенно рьяно залаял на елку.

— Ты, Нефодь, поди, не углядел чо-то. Мне самóму надо. Вместе поедем. Только разберемся с этим, — он кивнул на елку. И сказал со значением: — Ты путик видел?

— Но.

— И чо думаешь?

Мефодий пожал плечами.

— Главное, здоровенный котяра. Два путика обчистил, — тревожно, собранно и немного отрывисто говорил Гурьян. — Причем жердушки не трогают, только кашканы на полу. Только на полу! И где приваду взял, там кашкан запущенный. Где взял — там запущенный. Ничо понять не могу. Это чо такое за специалист-то? Какой-то хитровыдуманный. Привады-то подхóдя взял.

«Подхóдя» — было излюбленное выражение староверов, в смысле — в подхóдящем количестве, на подходе к завершению плана.

— И оправляется-то так, видно, наетый. Я еще пойму, если голодный,

как грится, страх потерял. А этот сытой. Ты понимаешь — сытой! Сильно грамотный... И вот, — он вдруг невольно заговорил тише и снова кивнул на елку, — это... он, по-моему... заговоренный какой ли. Мы его загнали сюда, дак он будто понимает: я как ни иду — он все с той стороны елки. Как ни иду — все с той. Переползает, гад. Я уж думаю, не бес ли тут морочит?

— А возможно, тятя.

Гурьян помолчал, потом решительно и громко спросил:

— Дак чо говоришь, нет дяди? Добром смотрел?

— Да в том-то и дело, что нет! Вот ты вспомни, тятя, он на связь выходил, как раз середя была, а ночью снег упал, пухляк-то. И вот следов больше нету! Нет следдев! Все. Чисто. Если бы он после снега ушел, я чо — не слепой, увидел бы!

— Да поди, — сосредоточенно ответил Гурьян. Помолчал и возразил: — Однако это вторник был.

— Ково вторник? Середя. Еще этот баламут, Лабаз-то, соболя по рации обдирал, всех извел, дядя ему помогал ишшо. Это середя была, я с домом разговаривал. У них как раз вертолет рейсовый садился, мать сказывала.

— Ну да, — так же сосредоточенно, в уме подсчитывая, отвечал Гурьян, — середя выходит. Точно. Мы же вечером собрались на Центральной, а в четверг мясо вывозили до обеда. Уже четверг был. Я еще утром Перевальному сказал, что на двух техниках поедем. Ладно, Мефодь. Сегодня Лева придет, завтра мы его втроем-то прижучим. Далеко не убежит.

— Бать, — сказал медленно Мефодий, будто не слыша, — а ты про Соболиного Хозяина слышал?

— Да слышал. Дед рассказывал чо-то...

У Мефодия был с собой карабин, он попытался высветить фонариком елку, пару раз выстрелил наугад. Потом даже крикнул бодро: «Тятя, давай я залезу!» Но Гурьян его укоротил: «Заводи».

Мефодий завел похожий на насекомое снегоход, с пластмассовой, набранной из желтых угловатых плоскостей мордой, со стрекозиным выражением узких фар, из которых полился яркий свет, совершенно не шедший таежной обстановке — нежный, какой-то нетрудовой, из другой жизни. Снегоход тарыхтел по-мотоблочному. Гурьян долго притыкал, прилаживал лыжи — потом сел, и они утарыхтели. Только едко дымил костер, частью провалившись в снег и вытопив дыру до подстилки, а частью обугленных палок вися на снежных плечах. Пахло аптечно паленым мохом. Собаки, их было семь штук с Пестрей, так и лаяли, то затихая, то вдруг объятые одним им понятным порывом, заходились с новою силой. Было ясно, что ни они, ни Гурьян с сыновьями не отступятся и наутро с трех точек выстрелят его, изрешетят елку. И если даже попытаться в темноте верхом (с дерево на дерево), то далеко не уйти.

Гурьян с Мефодием в это время подъезжали к избушке. Там горел свет, вовсю ревели печка и орудовал Левонтий, самый молодой, по-мальчишески худощавый и с еще более похожей на мох бородой, лепящийся неровно по уже узнаваемым отцовским скулам. Пока мужики рассупонивались, оплывали льдом с усов и бород, он горячился:

— Тятя, у меня фонарь мощнецкий, давай щас поедем, мы его махом высветим, пулек наберем!

— Ну, тять, — подхватывал Мефодий, — ты сам говоришь, он хитровыдуманный. Он собак надурит и уйдет.

Дымилаась на большой глубокой сковороде каша с рыбой, капуста домашняя стояла в банке.

— Фодя, Лева, давайте. Молимся, — сказал отец и строго глянул на Левонтия, который, по его мнению, недостаточно высоко крестился: — Левонтий, сколь раз тебе говорил, ты ково так крестишься? Креститься так надо! — И он показал, касаясь двуперстем самого приверха плеча. — У нас у дядьки Тимофея было: все то болел, то с работой не ладилось. А ему потом наш дед сказал: до самого края надо! Он так зачал креститься, и все — как отрезало. Хе-ге, — Гурьян рассмеялся с прохладцей. — А у его, оказывается, один-над-цать лет бес на плече высидел. Одиннадцать лет! О как! Дьявола, они креста боятся! Так от...

После трапезы ребята снова завели:

— Тятя, с ним разбираться надо. Он спокою не даст.

— Тятя, он попробовал. Его теперь не отвадишь.

— Не, сыны. Чо мельтусить. Искони говорили: утро вечера мудренее, — говорил своим чуть рубленным баском Гурьян. — Тут надо все вкруг понять. Охота охотой... А мы хоть люди охотчие, но с братом не дело.

— Ну, тя-я-ять... — тянули Мефодий с Левонтием.

— Закончили, — поставил точку Гурьян, — Сказано завтра, как обут-рят — с этим хунхузом разберемся, а послезавтра — до Федора.

В это время в Фединой небольшой головке стояла одна напряженная мысль: как быть? Вероятность маленькая, что собаки его бросят, убегут в зимовье, но подождать стоит, глядишь, что и найдет. Уже перевалило далеко за полночь, а собаки и не думали уходить. То успокаивались, то взлаивали с новым азартом.

В елке копошились поползни, ползали по стволу головой вниз, пицали. Федя поймал, придавил одного:

— Слушай меня внимательно. Если не будешь рыпаться — не трону ни тебя, ни твою родоу. Не будешь верещать, сделаешь все, что скажу — еще и отблагодарю. Ну что? — и даванул поползня так, что тот захрипел:

— Что делать надо?

— Собак отвлечь.

— Ты бы попросил добром, я и так бы помог.

— Не умничай. «Попросил...» Будто сам не видишь, что творится?

— Делать-то что надо?

— Для начала подлети поближе к собакам. Сведай, кто чем занят? Где сидит.

Поползень слетал и рассказывал громким шепотом:

— Буран сидит лижется, Аян под елкой. Пестря на елку орет, как сумасшедший. Норка — тоже орет и на Пестрю поглядывает. А Кузя тоже лает, но задирается к Пестре... Переживает. Бусый валяется, шкуру чистит...

— Стоп, — наморщился соболь. — Ясно. Надо вам с твоим братцем сесть над Аяном на веточку и затравить его на кого-нибудь. Чтобы они убежали...

— Что там какой-нибудь зверь, ну... более... — начал было поползень и испуганно замолчал.

— Ну, чо замолчал, хе-хе? Говори уж, чо думал, что зверь более ценный, чем я, — разжевывая чуть не по складам, сказал Федя. — Ну?

— Ну да, — смущенно пискнул поползень. — А кто? Сохатый?

— Да какой сохатый?! Я для них сейчас всех сохатых важней.

— Ну, а кто тогда? Медведь: не поверят — они здесь все берлоги знают. Росомаха?

— Э-эх... — разочарованно протянул Федя. — Удивляюсь я на вас. Взрослые вроде пичуги. Росомаха... Другой раз, может, и сработало бы. Но не теперь. Тут надо что-то, цъ, такое! Чтобы имя всю подноготню вывернуло.

— Что-то не могу сообразить...

— Глухарь? — пискнул брат Поползня.

— Да какой глухарь!!? Объясняю: рысь! Слышали такого зверя?

— Брысь? А кто это?

— Не брысь, а рысь. Здоровая кошара. Их нет здесь. Но псы тем лучше затравятся.

— А кошара — кто это? На-подвид волка?

— О-о-о, — раздражаясь, потянул Федя, — тяжело с вами... Кошка. Такой зверь домашний. Но есть еще и дикий. Короче, я не нанялся тебе лекции о фауне читать. Сядьте на ветку и начните судачить: мол...

— Понял, понял! — радостно перебил-защebetал Поползень. — Там в ручье Рысь сидит! Там Рысь! Там Рысь! Пи-пи-пи! Так?

— Те и «пи»! От ить деревня! Надо сказать так, чтоб... эх! Чтоб они поверили! Какая «Рысь, пи-пи-пи»? Ничо не можете! Надо сказать... — И он произнес заправски, неторопливо и веско: — «Слышь, Серая спинка, я чуть не упал тут. Шелушил сушину на краю гари у Юдоломы, и вдруг кто-то ка-а-к...» И повтори: ка-а-а-к...

— Ка-а-ак...

— ...Ка-а-ак мявкнет! Да так хрипло, главное, — я чуть личинкой не подавился... Понял?

— А какой личинкой сказать? Усача или короода?

При слове личинка Федю и Поползня моментально окружили поползни и открыли писк:

— Лубоеда!

— Жука-сверлилы!

— Не! Лучше толстощупика!

— Толстощупика! Кая разница? Не-вы-но-симо! — Федя аж куснул кору. — У вас товарищ будет с голодудохнуть, а вы его сверлить будете: тебе корощупика или тупоусика! Все мозги проели своими бекарасами. — Федя аж метнулся по ели так, что собаки залились, но успокоился и сказал, выдохнув: — Здесь важно дух передать. Скажи: «Поближе-то подлетел. И обомлел. Смотрю... Скажи, кедр — аж шапка с головы падат!» Обязательно так скажи!

— Как это шапка?

— Ой, до чего вы нудные! Короче, скажи: «Кедра!» Не, не так. Вот как: скажи «кляповая лесина»...

— Какая?

— Кляповая. Наклонная, значит. И на ней: «Рыси здэ-э-эровый кошак сидит. На кедрé...» Ну-ка повтори:

— Рыси здоровый кэ-э-эшак сидит...

— Не «здоровый кэ-э-эшак», а «здэ-э-эровый ка-шак»... И скажи: «Когти — о! На ушах кисточки — хоть ворота крась. И ворчит так противно, мол, я этих собак всех передавлю... Вопшэ не перевариваю их родоу...» Ну, чо-нибудь такое. Поняли? Ну, чтобы они затравились... Мол, я этих шавок вообще в грош не ставлю... Во! — воодушевился Федя. — Мол, будут борзеть, все дядьке своему скажу, он их на рямушки порвет! Поняли? Обязательно скажи «на рямушки»! Скажи, летом как раз под Ус-

сурийск собираюсь. Там фазан до того жирен, аж с хвоста капат. Хоть банку ставь. Запомнили?

— Поняли! Поняли! Пи-пи-пи!

— Всю родову, мол, передавить обещал. Можно еще сказать: и до того зло смрадно от него кошатиной прет, что аж...

— Что аж мутит!

— Что аж мутит. Ну все. Маленько потренируйтесь, а я... подумаю.

«Кошак-то, конечно, хорошо, а что дальше-то делать? — тревожно размышлял Федя. — Даже если Гурьян поедет ко мне на базу, то племяши мне тут устроят... рямушки. Драть надо отсюда, хоть по воздуху. Эх...»

И услышал, как поползнь начали:

— Слышь, Носик, у тебя нет жучка позабористей?

— А чо такое?

— Чо-то мутит... Стоит в горле этот запашина кошачий..

— Како-о-ой?

— Чево-о-о-о?

Раздались возмущенные голоса собак:

— Да быть не может! (Обожди, Бусый! Задрал с кусачками!)

— Ры-ы-ысь?

— Что прямо так и сказал «на рямушки?»

— Ну да: так выходит!

— Да что же эт, братцы?!

— Надо наказывать!

— Брать надо!

— Нельзя так оставлять!

— Тут только слабину дай!

— Слабину почуют — вообще проходу не дадут!

— А соболю как же!?

— Накажем и с сободем разберемся! Далеко не уйдет.

— Не, мужики, за такое сразу... учить надо!

— Да, конечно!

— А я, главное, бегу седни и... как кошаниной набросит. Еще думал онюхался. Думал, откуда ей здесь взяться?!

— Да заходят!

— Заходят! Вон чо, оказыватца. Нос не обманешь, хе-хе!

— Так, ну чо? Хорош соплю жевать! Работать его надо! Кто за?

— Все за! Гав!

Собаки еще погалдели, погавкали на елку, мол, сиди смирно, «только дерни отсюда», и убежали. Федя выждал полчаса, велел поползням замолчать и, спустившись пониже, долго слушал удаляющийся топ и шорох. Когда убедился, что никто не вернулся, спустился на пол и во весь опор побежал в противоположную сторону.

Уже чуть светало. Он выбежал на маленькую проплешинку среди кедров, растрепанных и стоящих навалом во все мыслимые стороны, словно их приморозило в момент, когда они что-то с жаром обсуждали, маша лапами и качаясь от возмущения или восторга.

На светлеющем небе горели звезды. Снег был особенно ясным, объемным, великолепно-парадным. На нем синела канавка с крестами глухариних лап. Под большой узловатой кедринкой как ножницами накрошили хвою, и глядела в выставшее небо лунка. «Хорошо живет, поел, тут же нырнул. Потоптался, поворочался, снежок пообмял», — Федю раздра-

жил безмятежный глухариный режим. Он начал очень осторожно приближаться к лунке, как вдруг из нее раздался строгий голос:

— А ну стоять, пока в лоб не получил!

«Да что за невезенье!» — аж изогнулся от досады Федя, как внезапно из снега показалась здоровенная глухариная голова:

— Чо крадесся? Даже не думай! Нашел поползня!

— А ты откуда знаешь? — удивился Федя.

— Я все знаю, — отрезал Глухарь. — А ну назад!

Федя покладисто отбежал, повернулся к Глухарю, стал столбиком и сказал:

— А на тебе можно улететь?

— В смысле? — не понял или сделал вид Глухарь. Сама по себе картина была замечательной: синий снег, нежнейшее предутреннее небо и черная бородатая голова в лунке, как в ворота. Из ноздрей и клюва шел парок в такт дыханию. Правда, Феде не до видов было.

— Я знаю: на тебе улететь можно. Слушай, мне край надо. Да и это тебя касается. Сейчас сюда прибежит десяток собак и Гурьян с сыновьями. Все равно жизни не дадут. — И добавил заманистым тоном: — А я тебе расскажу, как себя вести, чтобы ни-ког-да не попасться. Только для этого надо будет... все соблюдать. Технику безопасности.

— Техника безопасности глухаря... — громко проговорил Глухарь, — никогда не верить соболу. Хе-хе...

— Вот клянусь, друга, — сказал Федя, — стою вот перед тобой. Как есть. Чо, не веришь? Раз такой... всезнающий.

— Куда лететь? — быстро сказал Глухарь и, выбравшись на снег, хлопал крыльями и так богатырски покрасовался статью, грудью («Эх, хорошо, с утра морозец!»), что Федя сказал про себя: «Здоров! Ничего не скажешь».

— В поселок.

— А садится куда?

— Ну, там аэродром, хе-хе. А если серьезно — хоть куда, главное, поближе к дому, на краю там.

— А там есть лохматые кедрины?

— Вот я как раз хотел сказать. А ты на кедре сможешь сести... с грузом? Там кедр лохматая такая на краю, прямо как шар, вот в нее если попасть, то само то будет. Прямо с леса залететь, никто не увидит.

— Не увидит — это полдела. А что по полу подхода не будет — важно. Собакам хоть заорись — никто не поверит, — бородатый Глухарь баянил не то что самоуверенно, и не то, что пренебрежительно. Пренебрежительность предполагает давление на того, кем пренебрегают, пусть и таким сподтишковым способом. А глухариный тон, если что и выражал — то естественное состояние знания. И соболек, собиравшийся придавить петушину за шею в лунке, перед ним мельчал, словно придавливали его, но не упреком и неуважением, а правдой, к которой хотелось прибиться.

— Но, — сказал Федя, — а ты грамотный.

— Хе-хе, еще ветер какой будет, — резанул с напором на Соболя Глухарь, пустив лесть мимо ушей. И Соболю показалось, что он сам в два счета превратился из заказчика в какого-то помощника.

— Ветер нормальный, — вытянул вверх острую скуластую морду и лизнул кончик носа Федя. — Сейчас север дует, как раз под него снизу зайти.

— Если снизу заходить будем — нормально, — сказал Глухарь густо, сильно.

— Я грю, снизу.

Небо наливалось светом, ярким, торжественным и всегда поражающим этим каждодневным, ликующим, зимним совершенством каждого тона. Красота была в такой розни с происходящим, что Соболь сильнее заторопил:

— Ну, что?! Пробуем?

— Так, — сказал сосредоточенно Глухарь, — давай с моей тропы по-пробуем. Она проколела. Сядешь. Разбежусь и полетим. Ты, главное, держись добром. И не дури: только почувствую зубы — так озем шаррахну, что дух выпустишь. Понял?

— Да понял. Понял.

— Ты зубами за перо прихватись, прямо пониже возмись, под ко-решки. И лапами держись передними прямо за шею. А как взлетим, зубы отпустишь, а лапами будешь держаться. Главное, взлететь. Морда у тебя острая, парусить не будет — уши ветром придавит, только дер-жись.

Было ощущение, что он каждый день извозом соболей занимается.

— Давай пробуй, а то точно попадем: ты на пялку, я на приваду.

Глухарь уже стоял на своем каменном следе с синими крестиками. Соболь запрыгнул и взялся, как сказали.

— Все? — крикнул Глухарь. Соболь хлопнул его передней лапой по перу.

Глухарь побежал, захлопал крыльями, совсем чуть-чуть оторвался и, едва пролетев, лупя крыльями по снегу, сел, проехав и взвив снежный морок, так, что Соболя всего припорошило, особенно морду.

— Чо такое? — спросил Соболь.

— Полоса короткая, мне не хватит. В лес воткнусь. Да и вообще, чо-то с тягой. Так... слушай, давай попробуем вот как: ты сиди здесь, рядом с полосой. Я разбежусь, оторвусь сантиметров на сорок, а ты прыгай. На пенек на этот залезь и с него прыгай.

Федя залез на кедровый обломыш с острыми сучьями и сосновой шишкой в расселине. Глухарь разогнался, взлетел, соболь прыгнул, но Глухарь пролетел совсем низко метров десять, и рухнул, пробороздив снег.

— Не-а. Тяги не хватает. Вроде разогрелся. И мороз. Не знаю... — ска-зал Глухарь, тяжело дыша, но не жалуясь, а даже пребывая в каком-то рабочем азарте.

— Ты ел сегодня? — строго спросил он Федю.

— Да нет! Ничо не ел, — сказал Федя и, подумав: «Н-да, не тот нын-че глухарь пошел», предложил:

— Со скалы надо попробовать. Или вот хотя с лиственни. Во-о-н с той надо, с берега. Давай вон на бережок выберемся.

Федя выбежал на бережок речки и залез на высокую лиственнь, кото-рые вымахивают на таких берегах, куда наносит рекой плодородную поч-ву. Глухарь тоже взгромоздился на лиственнь:

— Ну чо, садись.

— Погоди. Ты это, — сказал Соболь, — камни сбрось.

— Какие камни?

— Ну в зобу-то...

— Ты совсем трекнулся? Я те где сейчас камней добуду?

— А я тебе адресок скажу — есть обозначение на Майгушке, там в любое время камня возьмешь, там осыпь такая...

Глухарь выплюнул камешки, некоторое время отдышался.

— Ты это, если тяжело будет — заговорил Соболь, — садись там где-нибудь.

— Ты чо, как маленький? — осадил его Глухарь. — Тут если делать, то делать. Чем ближе к поселку — тем больше и собак, и народу. У поселка вообще лыжня на лыжне. Ученики еще эти... шнурят везде. Не-е-е, — с прохладцей и почти презрительно протянул Глухарь, — тут или до упора лететь, или тогда затеваться нечего.

— Ясно, — согласился Соболь, который и сам так считал.

Рассвет просто мчался, солнце на глазах вставало и из оранжевого, пульсируя и переливаясь, превращалось в желтое. Федор забрался на глухариную спину и увидел, как далеко внизу бегут по его следу на тундрочке собаки, а поодаль едут на двух снегоходах Гурьян с сыновьями. Залезать было невыносимо трудно, Глухарь, хоть и напрягался встречно спиной, креп ногами, но казался шатким, высоким, спина шелково-скользкой, а от сознания того, что тот еще и сам сидит на ветке, да на шатучей огромной лиственни — мутило. Прихватил Глухаря зубами на крепкое перо на спине, в основании шеи, обхватил лапами и крикнул:

— От винта!

— Чего? — не понял Глухарь.

— Погнали, пока целы, вот чего.

Глухарь рухнул, головокружительно лег в воздух, заработал крыльями. Ничего не было страшней, поразительней и восхитительней этого свала в даль, прозрачную, одушевленно-выпуклую, морозно налетающую и тут же берущуюся у глаз морозно-слезной коросткой. Крепкий воздух проминался, но держал отяжелевшую птицу, которая, было пойдя вниз, выровнялась и начала набирать высоту. В повороте Глухарь накренился, и собою показалось, что его сейчас ссыпет, сметет с глухариной спины, и весь впился, растянулся, превратившись в летягу. Глухарь словно с горы пошел с понижением и набирая скорость.

— Ну как? — крикнул Глухарь, сойдясь головой с солнцем, так, что оно налило половинки клюва и те восково загорелось.

— Нормально, — пробубнил сквозь перо Федя, не разжимая зубов.

Глухарь то работал крыльями, то расправлял их и планировал, отдыхая, и тогда несся особенно плавно и свист пера был отчетлив. Удивительно — вроде птица, машущая крыльями, вроде вокруг воздух, зыбкий, ухабистый — но как-то стойко летелось, будто ехалось по прозрачной неведомой колее. И дорога во время взмахов поднималась в гору, а на планировании — спускалась вниз. Так и летели — с сопки на сопку.

Самое поразительное, что как бы глухарь не кренился в повороте, голова его оставалась в одном положении, в четкой привязи к земле. И непонятно было, что вращалось, смещалось — голова относительно глухаря, или глухарь относительно головы и соболя вместе с глухарем. Еще Федя не ожидал, что глухарь будет так вертеть головой, осматривая окрестность. Когда Глухарь смотрел вбок, Федор видел его ярко-красную бровь и карий глаз, полный покоя и иконописной какой-то выразительности нижнего века. И хоть простреливало от зыбкости, от того, что пустота внизу, но и надежей веяло от уходящей вперед сероватой шеи, ее упрямого вылета, от черной головы и костяного белесого клюва. Федя уже не держался за перо зубами. Морду, глаза, особенно, нос — холодило, на

остальном теле мех сплывался, хотя его и трепало частой волной, проминало мелкою ямкой. Перо глухаря лежало плотно, и лишь когда изредка налетал боковой ветер, перья кое-где привставали, как закрылки.

Когда Глухарь только взлетал с лиственни и описывал оборот — открылась даль сопок в такой резкости, густоте и величии, что и у Федора сжалось сердце. Главным в этой горной и суровой дали была ее предельная заиндевелость с вершин. У самых высоких сопок таежная штриховка постепенно редела кверху, на безлесной пологой вершине уступая место абсолютно меловой белизне, и голая светящая белизна эта была настолько величественно-спокойна, что не могла не значить чего-то таинственно и требовательно важного.

Сопки пониже были сплошь в тайге, но с тем же плавным белиением к вершине — чем выше, тем мельче и острее, штриховатей были кедры и елки и тем сильнее облеплены каменным сахарным снегом.

Сопка приближалась, подрастая, подпирая глухарю под лапы, и уже совсем крупно были видны желтые от солнца лиственничные верхушки в перекрестьях ветвей. Сверху лиственничник выглядел как звездчатое полотно, а каждая листвень была как нанизанный на ось набор крестов. Чернолесье же с высоты гляделось вовсе сквозным, редким, в струну отстроенным, подчиненным вертикальной незыблемой тяге, черно-белому штриховому совершенству. И чем реже стояли кедры и ели, тем сильнее поражала их верность отвесной своей породе, свечевому зенитному строю.

Сопки все разглаживались, и ковер тайги выравнивался к далекому Енисею. Соболек уже был часть птицы. И как сведет от неловкой позиции или холода один какой-то кусок тела, так и всего Федю свело от этого полета, в котором сплелись и жизнь, и небыль, и краса, и погибель — и все произошедшее в предыдущие дни и часы, а сейчас будто достигнувшее пиковой точки. И это погибельное лежание ковром на глухариной спине, и скользкое плотное перо, и тепло тела под ним, и его напряжения, передающиеся Феде, и два могучих крыла по бокам. И полная тишина над тайгой, будто специально притихло все лишнее, и даже свист ветра в пере казался убавленным небом.

Вокруг простиралась красота, особенно немислимая и драгоценная именно в своей неизвлекаемости. И Федя был в этой красоте, не как зритель, а как пронзаемый, независимо от того, зажмурился или открывал глаза. Красота была лишь частью обвального потока: налетающего ледяного ветра, затыкающего дыхание, мутящего кренения, сползания с глухариной спины, косога, перекошенного пространства, когда бок сопки очутился где-то сбоку и, казалось, Глухарь сейчас завалится на спину, и оба рухнут... И ты крепче обняв птицу, стараешься удержаться, и смещаешься, уходишь в сторону, силясь помочь, перевесить. А когда Глухарь, выровнявшись, начинает с шумом работать крыльями, то немислимо напрягаешься телом, передавая птице натугу и собственных сил, а когда тот планирует — еще сильнее приливаешься, превращаешься в пласт и плоскость... И причудливо лежишь меж крыл, которые то опускаются, то поднимаются, округло выгнутые книзу, и ты то оказываешься на спине, как на горке, то в спасительной ложбине.

Лететь было тяжело, и Федя знал, что глухарь не для дальних полетов. Что хоть и хороша у него тяга при взлете, но это не гусь и не казарка. И то ли почувяв соболиное сомнение, то ли сам по себе устав, Глухарь начал неумолимо и незаметно снижаться, с еще большим усилием налегая крыльями, аж до дрожжи, отчего шея как-то особенно напряженно

вытягивалась. И даже стала при каждом взмахе чуть ходить вверх, как у коня, идущего в гору. Что-то происходило и с воздухом, он терял твердость, и Глухарь сказал:

— Так, ты давай не молчи там, рассказывай что-нибудь, а то тяжело-вастанько. Тяга падат.

— А что рассказывать? — сказал Федя, чувствуя, как громко звучит его голос и как притихли и ветер, и гулкая даль, внимая их разговору.

— Не знаю, хоть что! Можешь что-нибудь... о природе... Или сказку! Давай не молчи только!

Федя вдруг, не успев подумать, заговорил с неожиданным выражением и так доносчиво, что слово свободно полетело над окрестностями:

— *Соболь чрезвычайно смел и отваживается нападать на больших птиц, как-то: на косачей и даже глухарей, когда они спят, зарывшись в снег. При малейшей оплошности соболя глухой тетерев быстро поднимается с ним кверху; соболю, крепко сцепившись в глухаря, поднятый на значительную высоту, боится упасть на землю, стараясь уже только как-нибудь держаться на птице, которая в свою очередь с испугу летит с неприятелем, куда глаза глядят и насколько хватит сил.* — Феде даже показалось, что Глухарь кивнул бородатой своей головой.

— *Наконец, глухарь, перенесшись через несколько хребтов...*

— «Чрез» — это хорошо! — Глухарь восторженно повернул к соболю бородатую голову. От ноздри по черному ворсу пролегал размашистый мазок куржака.

— Я такие слова люблю, от путних слов сразу сил прибавляется! — крикнул Глухарь. И Федя почувствовал, как их начало поднимать, будто и воздух, и крохотной ледяной пыли тоже по сердцу слова, которые звучали над тайгой странным этим днем.

Федя обрадованно продолжил:

— *«Наконец, глухарь, перенесшись через несколько хребтов (Глухарь аж хрюкнул от удовольствия и хмельно трякнул-крутанул головой), а может, и десятков верст, от изнеможения где-нибудь падает и, таким образом, переносит на себе соболя из одного места в другое. Это объяснение весьма правдоподобно; зная отважность соболя и силу глухаря, сомневаться не должно. Да и, вероятно, были этому очевидцы... эээ... или другие обстоятельства, фактически доказывающие это... явление... явление, ибо нельзя думать, чтобы простолюдины без основания могли придумать такую остроумную... гипотезу... А-а-а... Забыл...*

— Да что же ты!? — крикнул Глухарь, отчаянно заработав крыльями, которые стали будто проваливаться, будто не только сил у них убыло, но и сам воздух прослаб от огорчения.

— Ну! — гулко крикнула даль.

— Ведь были же очевидцы, как ласка, зверек несравненно меньше соболя, отваживался нападать на косачей и поднимался с ними в воздух, а потом, умертвив их, падал с ними на землю (смотреть «записки ружейного охотника Оренбургской губернии. Москва, 1852, страница 347).

— Вот это другое дело! — сказали верхушки лиственниц.

Некоторое время они хорошо летели, и Федя ничего не читал наизусть, но Глухарь все больше уставал и снова начал терять тягу. Не дожидаясь команды, Федя читал:

— Как во время войны довольно явиться перед фронтом какому-ни-

буде из известному полководцу, которого любит, уважает и на которого надеется войско, чтобы одержать победу, так в артели зверовщиков довольно присутствовать известному, удалому, опытному промышленнику, чтобы убить медведя...

Глухарь восторженно повернулся к рассказчику, и Федор снова увидел его древний карий глаз цвета смолы, картинное веко и красную бровь. Федор продолжил чтение:

Собравшись совсем, промышленники прощаются друг с другом, кланяются на все четыре стороны и отправляются к самой берлоге пешком тихонько, молча — словом, с великой осторожностью, чтобы не испугать медведя и не выгнать его из берлоги раньше времени. Подойдя к ней вплоть, более опытный и надежный охотник тотчас бросает винтовку на сошки, перед самым лазом в берлогу, взводит курок и дожидает зверя; между тем другие здоровые промышленники подходят к самому челу и затыкают в него накрест крепкие, заостренные колья, называемые заломами, имея наготове винтовки и холодное оружие, как-то: топоры, охотничьи ножи и рогашины. Разломав чело берлоги, промышленники начинают дразнить медведя, чтобы он полез из нее, а сами между тем крепко держат заломы и не пускают медведя выскочить вдруг из берлоги. Лишь только последний покажет голову или грудь, как стрелки, избрав удобную минуту, стреляют медведя из винтовок. Заломы нужно держать как можно крепче, потому что освирепевший медведь, хватая их зубами и лапами, старается удернуть к себе в берлогу, но никогда не выталкивает их вон. Нужно быть хорошим стрелком, чтобы уловить удобную минуту и не промахнуться, ибо медведь так быстро поворачивается в берлоге и так моментально выставляет свою голову в чело ее, что здешние промышленники особо даже выражаются по этому случаю: «Не успеешь наладиться, чтобы его изловить; высунет свою страшную голову да и опять туда удернет, словно огня усекет, проклятый, а ревет при этом, черная немочь, так, что волоса поднимаются; по коже знобит, лытки трясутся, — а доли гром грыммит индо лес ревет!!!»¹

— Добрррром! — пробасил Глухарь. — Меня еще верст на пятнадцать хватит! Верно говорят: слово — не кедровая иголка. Его ни клюв не пострижет, ни камень не перетрет.

И снова напители сил крылья, и заработало глухариное сердце в полную прокачку. И снова, будто воспряв, с силою потянулася подкрыльная сизая даль и склон с лиственничником начал подступать под самое глухариное сердце.

.....

Господи! Как бы хотелось, чтоб и от моего слова креп воздух над Сибирью и наливались силою чьи-то крылья. Чтобы в долгой дороге — по воде ли, пыльно взрытой задиристым севером, в ухабистом ли, иссеченном пургой воздухе, или на уваленном снегом зимнике легчало бы на сердце от запавшей в душу строки и сгоняло с усталых очей сонную пелену. Чтобы трудовой мужик, умученный незадавшимся днем, придя в промороженное зимовье, растопив печь и избыв хозяйственный бытовой круг,

¹ Было бы радостно, если бы читатель сам узнал-определил автора сих замечательных строк (Прим. Михаила Тарковского).

откинулся на нары и, нащупав на полке именно эти страницы, прочитал и почувствовал, что не один в тайге, да и в жизни. И слова, что в городе покажутся чересчур плотными, здесь расправятся и без остатка разойдутся-растащатся стужей, требовательной и сильной далью, сердцем, обо-стренно открытым и жадным до человеческого слова.

Лети, слово, в студеное Божье небо. Помогай ему всей силою образа и памяти, древнего строя и музыки. Держи ветер, не жалей пера и знай: не в том доблесть, чтоб, пустив тебя в морозное поднебесье, с восторгом и гордостью следить за твоим взмывом и ставками. И не суть, каков на-пуск — в подлет или с верха, и что меж вами в эту секунду — сокольной чья перчатка или пласт прозрачного воздуха. Суть в том, чтоб не выр-онить связи меж судьбой и взмывшей под облако птицей. Ведь едва пре-рвется перевязь-жила — хана промыслу, и, не мешкая, хлынет в прорех ложь и измена. И не в том суть, как добавить красоты полету, а в том, как, стоя на земле, не отпустить от кречета и делом подтвердить слово, если уж одарила тебя высь соколиной ловитвою.

.....

В это время тень метнулась сбоку, и Федя увидел сизо-белого крече-та. Он спикировал, но, увидев странного Глухаря, сделал круг и прибли-зился так, что виден был его черный выпуклый глаз, ярко-лимонная кожа век и восковицы вокруг ноздрей. Сам он был пестрый сверху, белоголо-вый и снизу белый необыкновенно снежной какой-то белизной. И неожиданно ширококрылый, и с этой ширины крыло сильно сходило на угол, и сам конец крыла был не острым. И вид Кречет имел не такой остроуголь-ный, как рисуют соколов в книгах, а повадка — солидная и неторопли-вая. Полет его, ход крыла был неглубокий, хоть и частый, словно рабо-тал он нехотя и вполсилы, едва тревожа, притрагивая нетолстый слой неба.

Едва Кречет поравнялся, Федя поднял голову и спросил:

— Чо хотел?

И было видно, как отшатнулся Кречет, но, не подав виду, сказал:

— Да нормально все. Тут наши не пролетали?

— Ваши — на Майгушаше, — бросил Соболь, и Кречет, так же, буд-то совсем не торопясь и работая широкими на конус крыльями, отвалил-ся от курса и потянул к югу.

Кречеты откочевывали поздней осенью с Путоранских гор. Летели редко и очень осторожно, будто сторонясь человека, и Федор их видел всего несколько раз и почему-то всегда над рекой, по которой шел на лыжах. Однажды весной он отобрал у кречета свежедобытую копалуху. Ехал на снегоходе и, увидев большого светлого хищника, сидящего на добыче на реке, подъехал, а кречет тоже как-то не проворно и нехотя от-летел. Копалуху Федор забрал, чтобы дома сунуть в морозилку — на сле-дующий год на приваду. По пути в поселок он встретил мужиков с кем-то приезжим, который, узнав про кречета, взбудоражился, заставил ко-палуху достать, и, выудив бутылку коньяка, велел приготовить макало-во (соль с перцем) и на сиденье снегохода устроил гульбу. Построгал груд-ку копалухи, макал ее и все восхищался: «Мужики, теперь я могу ска-зать, что закусывал копалухой, добытой из-под кречета! Это же опупеть!» Сейчас Федя, распластаный на глухаринной спине, об этом и не вспоми-нил. Его небольшая голова вмещала одну мысль — как долететь.

Глухарь только покачал головой:

— Хорош гусь...

Тот север, о котором говорили еще на полу и который должен был помочь с заходом на посадку, перешел из-под тучки в северо-запад и стал кидать птицу и буквально вставать стеной, отлепляя Федю от глухариной спины. Удары сбивали с маха, крылья то проваливались, то упирались в порыв, и с каждым метром все трудней становилось лететь, да и ветер настолько глушил голос, что уж не подпитаться было спасительным словом.

Они летели вдоль реки. Поселок стоял в ее устье, где впадала она в Енисей. Они срезали кривуны, но белое полотно реки пролегалo рядом, то и дело появляясь меж гористых берегов. Теперь шла равнина, и реку было хорошо выдать.

— Давай на остров! Там не будет никого! Облети — следы глянем входные.

— Остров — хорошая штука.

Сверху остров был похож на плоскую лодку или талиновый лист, острый с концов.

— Будем ждать, пока не западет ветер. Заодно перекусим.

На острове росли несколько кедров и большие лиственницы. Глухарь подкреплялся кедровой хвоей, и Соболь его охранял, следил за обстановкой. От острова уже недалеко оставалось до Енисея и поселка. Место было хорошо освоено, и они слышали лай собак в тайге, и несколько раз вдоль коренного берега проезжали снегоходы. Ветер начал западать. Тучка разрослась и, поблдневав, натянула сизоватую дымку, в которой все как-то осеребрилось.

— Ты лети спокойно, — сказал Федя. — Сейчас все охотники в тайге, а остальные, если и увидят, не успеют смикитить. Они и не увидят. Залетай с кладбища, там дом с профнастилом, на свету горит.

Стартовали с высокой лиственницы и потянули к Енисею. Чем ближе к поселку, чем чаще раздавался рев снегоходов и собачий лай. Началась самая опасная полоса — пояс, где особо шнурливые подростки носились с собаками и ружбайками, словно учеба им не впрок, и одна забота — в тайгу удрать. Зато у самого поселка была своего рода полоса безопасности — охотники ее проходили ходом, ломаясь дальше в тайгу. К тому же к Федорову участку примыкало кладбище, и никому не пришло бы в голову шариться там с собаками. Необыкновенно густой кедрачок рос и у домов, и на кладбище, где был похоронен отец Федора, дед Евстафий.

Уже смеркалось. Глухарь, едва взгромоздившись на круглую кедр, высадил Федю и тут же, захлопав крыльями, взмыл над поселком, и улетел восвояси. А Федя высидел в шарообразной кедре ночь. Выдалась она нелегкой и тревожной. Слышал, как лают собаки, как лай, только начавшись в одной точке одиночно, тут же подхватывался в других местах, и как особенно тоскливо, с подвывом, лаяли на нижнем конце. С натянутой ветром хмари луна была мутная, но окрестность просматривалась, и Федя надеялся, что, может, выйдет вечером Анфиса, хлопнет дверь, и даже перебрался поближе — совсем на край, на высокую пихту.

Федя прежде не особо думал о семье, и хотя и прикрывался ею, оправдывая свой соболиный нарыск, на самом деле лишь себя тешил, и когда накатывала тоска по близким, то была она и настоящей, и сердечной, да только он скроил себя так, что погоды она не делала. И сидела в нем и грусть по жене и сыну, и сочувствие, и нехватка близости, но мешала низовая хватка, которую он сам в себе выбрал и с такой силой развил. В ней он воз-

рос, ею и занимался, а любовь недогреб, и она осталась в зачатках, а когда наступала, то он с непривычки терялся, переживал неуклюже и впадал в топорное даже умиление. Эх, если б люди, живущие выгодой, шли до конца, то понимали бы, насколько выгода душевная ценнее физической!

Дом стоял задней стенкой к лесу, крыльцом к стайке. Густые шарообразные кедры росли по краю и неузнаваемо отличались от своих струнно вытянутых таежных собратьев. Они росли и на самом участке, обозначенном забором, который деревья не признавали. Они темно зеленели, кроме одной засохлой елки, у которой Федор привязывал собак. Летом, спасаясь от комаров, они разрыли корни и ель пожелтела. Сейчас, правда, все было под снегом.

Еще потемну надо было занять обзористую позицию, потому что Анфиса ходила первым делом в стайку, а потом кормить Азарта с Бойкой, которые сидели привязанными внизу огорода, ближе к Енисею, как раз у той сухой елки. Цепь Азарта была надета кольцом на длинную толстую проволоку, закрепленную меж деревом и домом. Скользя по проволоке, кольцо позволяло Азарту бегать вдоль проволоки, и ту отшлифовало в зеркало. Кольцо ехало с самолетным скользящим свистом и гулко отдавалось в сруб — проволока была и сама натянута, да и вес строя добавлял.

Собаки сидели по местам, так же взвизгивало кольцо по проволоке и словно напоминало о том, как надежно все Федором сделано. И Анфиса тоже была частью этой хозяйственности, крепко выполняя наказ — собак не спускать. О чем говорил и снег — следов не было.

Собак он строго-настрого запрещал отпускать с привязок — забор не спасет, и прорваться с участка в поселок засидевшаяся псарня умудрится любыми путями. А там собачьи свадьбы — кобеля задерут, да и мало ли куда залезут четвероногие, в ограду, в стайку к курицам — пристрелят пса, и не узнаешь. А уж к Рождеству наметет такие надувы, что скроет забор с головой — беги куда хочешь и кто хочешь. Сейчас до надувов не дошло, а забор Федор сделал высоким и плотным, так что чужих собак во дворе не было.

На рассвете Федя аккуратно пробрался до ближней к дому кедрушки, спустился к, пробежав по двору, забрался на сосну, росшую напротив веранды, где сидел в развилке рядом со скворечником, который сам и сделал. Эх, как бы сейчас пригодился леток пошире, но он об этом не думал: у него только одна мысль помещалась в голове: увидеть Анфису и сына. Так хотелось, что он не думал ни о том, как выбираться, ни что вообще будет дальше. Так бывает: кажется, увидишь дорогого человека, и так озарится в мире, что само все и решится.

С сосны, посаженной еще Федоровым отцом дедом Евстафием, отлично просматривался и весь двор, и его собственный след: со стороны леса он шел по целичку, дальше было утоптано, а перед сосной след снова выбирался на чистый снег, пересекая след кошки. Анфиса точно не приметит, а Дей выйдет, угруженный ранцем, и сразу к воротам.

Хлопнула дверь из избы в сени, раздался напряженные трудовые шаги: так ступают, когда несут что-то. Отворилась дверь, пнутаая ногой, и, скрипя калошками, вышла Анфиса в фуфайке и платке и с собачьим тазом.

«Два раза кормит, как просил, заботится», — проехало в голове. Федя увидел Анфису только сбоку и, особо не разглядев, заметил что-то белое на левой руке. Это был гипс — несколько дней назад она упала, и у нее треснула кость возле запястья. Таз одним бортиком лежал на забинтованном гипсе, уже измызганном, потемневшем в бесконечных хозяйственных

заботах. Анфиса повернулась спиной и пошла вдоль дома в сторонуневидимой собачьей елки. Федя отлично слышал и скрип валенок, и отчаянно взылавших собак, почуявших кормежку, и их топоток, скользящий звук кольца по проволоке и ее гулкую отдачу в избу. «Да несую, несую! — говорила Анфиса собакам. — А ты-то! Ты-то извертелася! Ой, лиса-лисунья! А ты-то! Ты-то!»

Видимо, поставила таз и стала черпаком отливать в чашку, чтобы каждому отдельно. Слышно было прекрасно — даже как Азарт издал от волнения зубную дробь, задрожал, часто перещелкнул зубами. Обе собаки по очереди заотряхивались от волнения, и цепи загремели обильно, сбруйно. И снова прогрело от того, как крепко он сделал и цепи, и кольца, и натянул проволоку, и как это сейчас особенно надежно и к месту работает. Наконец, раздалось дружное чавканье. Потом, видимо, Бойка прервала чавканье и посмотрела на Азарта. Ей показалось, что у него вкуснее, а он стал, не вынимая носа, свирепо рычать, бурля пузырями. Фиса взялась его увещевать:

— Ой-ей-ей! Ну прямо объели тебя! Объели! Ну, уж прям и посмотреть нельзя, смотри чо. А ты тоже, мадама, не зарься, ешь свое! Ешьте, ешьте... А я постою. Оооо... Еще сколько стоять-то так... Хозяин когда ишо... До Рождества самого... — И как-то задумчиво грустно протянула: — Ой, Господи...

Фиса еще некоторое время говорила с собаками:

— Ну все? Все? Набили бока. Коне-е-чно... Я вам туда еще и курицы бросила... Ну, иди, иди. Побегай... Засиделися... Засиделися... Конечно... Да ты ково тянешь-то! Погоди ты, торопыга, дай отцепить-то! Ой, юла! Ой, юла! Ково лижешься?! Несураз-ный! — Она особенно ударила на «ный».

«Какое «побегай»?!! — вскричало, взорвалось у Феди в голове, сверкнуло по всему холодеющему существу. — Она ково делает!?» Но уже несся навстречу веселый и мощный собачий перетоп с кусачим рыком — Азарт на ходу покусывал Бойку. Метнулись по двору, и тут же кобель, взвизгнув, ткнулся носом в след, и моментально поднесся к сосне и залаля, сначала неуверенно, а потом азартно и рьяно.

В это время маленький Дей вышел на улицу с ранцем и вдруг, бросив его на снег, заскочил домой. Если выходил он неторопливо, даже особенно вяло, тягуче и тягучесть подчеркивал инородный портфель за спиной и болтающаяся ляжка, то, сбросив ношу, мальчишка необыкновенно быстро скрылся в сенках. Анфиса тоже вошла, грохнув пустым тазом, и слышались их разговоры, сын что-то искал: «Мама, ты котомку черную случаем, не прибирала?!» — «Ково там?» — «Да там в пакете три пачки, «Юниор» — «Да я в ларь положила». Через несколько минут Дей выскочил с «тозовкой» и в лоб Федору усталился ствол.

Окончательно рассвело.

«Тозовка» была старая, еще деда Евстафия, «ТОЗ-16», однозарядная, с утолщением, с бутылковидным пламегасителем на конце ствола. Ствол вытертый, оловянно-белый, приклад серый и, как водится, замотан изолентой. Изолента синяя, блестящая и будто лакированная — до того затертая. И на затворе круглая набалдашка, шарик отшлифован в зеркало. Этих подробностей Федя не видел — знал наизусть.

Произошло еще вот что: едва в лоб Федора усталился ствол, все происходящее в душах и с душами уплотнилось во времени, тогда как земное, напротив, замедлило ход. Это касалось всего: движений сына, когда он, не сводя глаз с соболя, нащупывал в кармане среди россыпи пулек —

одну-единственную, главным в эту минуту, а может, и в век. И как пуляки не хотели перебираться — подрагивали пальцы, и, наконец, попалась одна, то ли самая быстрая, то ли, наоборот, неловкая, слабая... И когда Дейка медленно взял за блестящий шарик и отворил затвор, и вставил пульку темного свинца с блестящей желтой гильзой... И очень медленно дослал затвор, который растянулся, открыв дырку с пружиной... И вот «тозовка» заторможенно поднимается к плечу, причем Деюшка очень красиво и заправски сгибает локоть, отводя в сторону, и поднимает, упирает в плечо приклад. Потом так же медленно опускает приклад обратно и переводит бегунок прицела с пятидесяти на двадцать пять метров.

Едва Дей поднял ствол, и глаз увидел в прорези прицела голову соболя, как крепчайшая связь установилась меж стволом и лбом соболя. Вытертый ствол с набалдашкой будто имел продолжение, и соболю теперь был нанизан на прицельную линию, как кусок привады на роженек кулемочной насторожки. На кедровую длинную и сухую щепу, заботливо приготовленную охотником в избушке. И так крепко сидел Федя на рожене, что любая дрожь в руках сына отдавалась в голове, и казалось, если тот поведет стволом, то другого удернет с сосновой развилки. Но сын крепко держал оружие: главное было сделано, осталось только пальцу нажать на спуск, а пулке вылететь и с тугим шлепочком пробить теплую голову.

Дикое разрежение глядело из черного зрака ствола, но роженек кулемки, торчащий во лбу, был тошнотворней и сильней пульки. Федя надеялся, что лоб привыкнет, что роженек прилежится и перестанет так знобить душу. Рука сына все-таки подрагивала, и в Федоровой голове происходила мешанина содержимого, видно, роженек, как мутовкой, вскручивал память и помогал Федору думать обо всем сразу. Но, главное, что надетый на роженек Федя мог только в глаза Деюшке смотреть.

Когда Деюшка пил молоко из Анфисиной груди, Федя смотрел завороженно. Деюшка так старательно сосал молочко, что его головенка с белыми волосиками покрывалась нежнейшим бисерным потом. Глаза Деюшки были открыты и смотрели на грудь мамы, но чувствовали рядом и отца. И ручка нащупывала папу, не глядя, и отодвигала, чтоб не мешал, не отвлекал. Отец, наоборот, хотел участвовать в таинственной передаче силы, и было обидно, что гонят... Но Деюшка не всегда его прогонял, а иногда наоборот затевал игру. Попьет-попьет, а потом резко оставит сосок, тот резиново сыграет, выбросив мутно-белую каплю на детскую губку, а Деюшка повернется, перекатится на спинку и смотрит на Федора. Смотрит почти проказливо и пристально. А потом вдруг снова перекатится, на бочок ляжет и снова за сосок. И сосет, смотрит распахнутыми глазками перед собой, и торчат реснички, а сосок большой, набухший, а ротик приоткрыт и видно, как работает, старается язычок. А малыш попьет-попьет и вдруг снова откатится и смотрит на папу в упор. Внимательно-внимательно, будто проверяет, стоит ли отец всего происходящего, туда ли попал малыш, и кажется, вот-вот улыбнется... и снова вывырк — и за сосок. И опять в приоткрытом ротике старается язычок, добывает спасительное молочко, закачивает жизнь. А Деюшка снова откатится и смотрит на Федора. Эти глаза и теперь смотрели на папу в упор.

Однажды Федор рыбачил под осень окуней на яме. Окуня были здоровенные, а главное, в отличие от остальной рыбы, брали не всякий час, а утром или ближе к вечеру, и азартно было угадать в клев, да и собакам на корм рыба всегда в приварок. Рыбачил Федор с лодки — под скалами в яме с черной водой, по которой плавали желтые листьяжные иглы. Часа

два протаскал он окуней, и когда в очередной раз кинул спиннинг совсем недалеко от лодки, вдруг взял здоровенный тайменюга. Год спустя история повторилась: ловил щук на яме и тоже под конец выворотил тайменя. Понятно, что холодеет вода к зиме, и таймень бросает пороги, начинает широко ходить и шариться по ямам. Но Федор объяснил и так: таскание окушариков, вся эта возня, рыба толчея, плеск, странно и быстро исчезающие окушки на водяном небосклоне — все это привлекло рыбину, которая какое-то время медленно приближалась, ходила кругами по водяной толще, мощно и медленно изгибаясь на поворотах.

И когда сгустились события вокруг родового дома и вблизи кладбища, где когда-то похоронили отслужившую оболочку деда Евстафия, то душа деда спустилась спирально и начала медленно и плавно кружить у родного порога.

Отцу подумалось, что, подобно кедру в грозу, расщепился он на пять сыновей. Что каждая щепка — это часть его, одна какая-то сторона, а был он на все руки хозяином: и корабел, и пахарь, и охотник, и семьянин и молитвенник. Пять пальцев, пять кедров, сожмешь в кулак — кусок камня, смолистый узел-сук. И если мизинец не в отцову щепу ушел, то чей это недогляд?

Так странно пошло это утро, что мысли и о пережитом, и о происходящем никому не принадлежали и тоже вились в сгустившемся этом месте, ходили, изгибаясь, поводя хвостами, появляясь из леса со стороны кладбища, медленно сквоза меж пихтовых и кедровых стволов и прошивая души Евстафия, Федеи и Деюшки.

— Разлил себя по пяти четвертям-бутылям... На младшую не хватило... Вот и недóлил... — сказала длинная краснохвостая мысль с лиловой спиной и темным крапом по сталистому боку.

— Так и пошло. А Федор Деюшке еще больше недóлил, — вильнула хвостом еще одна, тихая, с оловянной чешуей.

— Дóлил — не дóлил. Так говорите, будто свое вообще не в счет, — почти обиженно сказала небольшая толстая рыбка с полосками и капризным ротиком.

— Да тут важнее — не свое-чужое, а Божье ли, бесово. Сильный Божье отстоит, а слабый отложит, — сказала оловянная.

— Ой, дефьки, давайте не надо: «сильный-слабый»... — отмахнулась плавником полосатая.

— Ну, отчего же... — негромко сказала серебристая мысль с плавниками, дымчатыми, как вода в горной речке. Она тоже выплыла из леса со стороны кладбища, гибко и очень плавно овиливая стволы пихт и кедров. На их ветках висели ржавые цепи от бензопил, которыми пилили землю, когда хоронили зимой, и серебристая мысль проплыла сквозь такую цепь и та тихо звякнула. А серебристая продолжила:

— Вот говорят: «Ну что с него взять — слабак-человек, не может противиться...» А посмотреть, оно у всех: и светлое в душе, и темное, почти поровну, и даже самый праведный, если попустит, то может так в себе темное размотать, что на десять неправедных хватит. Ты правильно сказала: важно, как ты в себе светлое увидел-отстоял. Бывает, сил-то по горло, а пример не тот взял. Важно не чём одарили, а как с дареным поступишь. А сильный, несильный... Бог разберет. Вон вроде сильный, волевой, а доброты нет. Одного себя видит. И к чему сила? Вот возьми — Кречет и Глухарь... Кто сильнее?

— Глухарь однозначно, — сказала мысль с полосками.

— Да что Кречет? — раздраженно сказала краснохвостая с крапом. — Один форс.

— Сильному и трудней, — сказала еще одна, тоже серебряная, но совсем небольшая и стройная. И раскрыла спинной плавник с изумрудным разводом по крапу: — Но ему всегда кажется, что он знает, что делает...

— ...Что есть закон, — поправила серебристая. — И такому не надо свидетельства... А слабому — чудо нужно.

— А сильному вроде и не нужно, но иногда он так засомневается, что хоть не живи. А слабый если уж чудо случится — так уверует, что всю жизнь свою развернет, — сказала с разводом по плавнику.

— И так до конца пойдет, что сильней сильного будет, — подхватила оловянная.

— Сильней сильного? — задумчиво сказала с дымчатыми плавниками. — Не знаю. Сильный — кто любить умеет. И меняться, но не изменять.

— Меняться... — повторила оловянная. — А есть, кто всю жизнь в борьбе черного и белого живет и это за верность считает. А есть, которого так шарахнуло, что жизнь новую начал. И что не узнать — словно шкуру сменил.

— Такие только в притчах бывают, — пожалала полосками полосатая.

— И-и-и... — сказала пожилая рыбинка со шрамом на хвосте. — Жизнь и есть главная притча. А сильный — кто это видит.

— Мы тут можем сколько угодно рассуждать, — тревожно прервала мысль с оловянной чешуей, — но что-то сделать надо.

— Да, — сказала серебристая с дымчатыми плавниками, — тем более этой земле так досталось, что мы... не можем...

— Ну, — сказала краснохвостая, — не имеем права...

Вдруг перелились звоном все цепи, висящие на кедрах и пихтах, и гулкий голос сказал:

— Я-то ладно. Я все видела и под небом лежу, а вот Кровинушке каково?

Кровинушка все это время тихо ждала и, хоть и слышала разговоры, но по-настоящему слушала только небо и давно все решила. Странны ей были рассуждения, но она понимала, что ничего просто так на Земле не делается, и минуты эти к чему-то нужны. Она была как мать, что собралась отстоять дитя, на которое весь белый свет ополчился. Она все знала, все решила. Не рассуждала и не гадала, что скажут другие. И даже думала, что одна такая чудачка, и была единственная, кто не сомневался. И когда ее спросили, ответила:

— Не бывать этому.

И вдруг тайга зашевелилась и повторила:

— Не бывать этому.

— Не бывать, — повторили Круглая Кедр и сосна со скворечником, сделанным Федором безотчетно, по чутью, и с осени ждущим скворушек, которых так любил маленький Деюшка.

И Земля сказала:

— Не бывать.

И даль подхватила эхом:

— Не бывать, не бывать, не бывать...

И небо облегченно вздохнуло и сказало:

— Воистину не бывать.

Время уже сжималось, и бессмертие, которое вторглось в земную гущу, чтобы помочь разобраться со случившимся, уже отходило обратно,

словно в вечности образовалось разрежение, утечка. Так уходит рыба из мелеющей старицы в реку, когда в ней падает вода, и по закону сообщающихся сосудов начинается перетекание, переброс водяной плоти, незримо подчиненный планетарному единому урезу. Так засобирались и мысли и стали одна за одной уходить к лесу.

Цепь, которой пилили могилу деду Евстафию, висела как раз на Круглой Кедрé. Она, видимо, была в то утро тем самым проточным местом, окном в невидимое, потому что рыбы именно в нее и утекали, затягиваемые светлой воронкой. Последним проплыла большая и трудовая душа деда Евстафия, на ходу коснувшись цепи. Та ответила тихим звоном, а душа деда успокоенно устремилась к поверхности...

А Деюшка так загрустил по тятю, что слабостию налились руки, и хрустнул смертельный роженъ, соединявший дульный срез «тозовки» с соболиной головой. И Азарт залился неистовым лаем и с такой силой зацарапал, заскреб лапами по стволу сосны, что вдруг поплыло в глазах и у Федора. Какие-то голоса слышались, кто-то заговорил наперебой, и стало казаться — необыкновенно знакомое, важное звучит, и что-то мгновенно явившееся, сверкнувшее — продолжение давнишнего, прожитого...

Федя очнулся на нарах, на своей лежке, на сохатинной шкуре. Настолько серьезным было произошедшее и столько в нем было смысла, скрытого от земного понимания, что требовался соединительный зазор, смещение во времени — поэтому переброс Федора происходил на самом рассвете, на полчаса раньше свершенного у сосны.

Медленно выплыло из тьмы синеющее оконце, затянутое полиэтиленом. Федор некоторое время лежал, приходя в себя и не рискуя пошевелиться, словно движение могло нарушить случившееся, вернуть туда, откуда он только что явился. Федор медленно потянулся к лампе и снял стекло. Фитиль был с нагаром — в своих страстях и слабостях он не следил за лампой, махнув на многое. Федор двумя пальцами снял крошащийся гребенек, который сухо отломился по самое основание... Стекло было мутным, в бурой гари. Он оторвал кусок от тряпки (старой простыни), которую клал на колени, когда обдирали соболя. Нынче тряпка была почти чистой. Начал протирать изнутри стекло, и оно становилось все более сияюще прозрачным. Он дыхнул, оно взялось туманом, и он снова протер по влажному и, глядя на проясняющейся куполок, вдруг почувствовал, как влажно прозрели глаза и мурашки прошли по затылку...

Федор достал спичку, но она не загорелась — головка крошилась, и горячая крошка, шипя, отлетела в щеку. Он достал вторую спичку, и та было загорелась, но, чадя, погасла, и пахло мгновенно серой. Он взял третью, что-то сказал, чиркнул, и она загорелась ярко и счастливо. Он поднес спичку к фитилю. Фитиль, потрескивая, разошелся, Федор вставил в лапки горелки до скрипа вытертое стекло, и ясный свет озарил желто-тесаные стены. Федор посмотрел на свою руку. На мизинце почернел ноготь: «Сойдет теперь».

Федор затопил печку и вышел из избушки. Свежий и пухлый пласт снега лежал перед избушкой по границе навеса. Ступать было не то что страшно, а как-то... необратимо. Двигался он чутко и по-светлому осторожно. С каждой секундой Федор неумолимо отдалялся от точки своего пробуждения, от границы случившегося, и все то, что оставалось за ней, продолжало звучать и наполнять знобким туманом каждую жилку, и он боялся, что туман ослабнет. И следил за ним, страшился пролить и растерять все то, что огромным комом-облаком стояло под сердцем.

Подождал к снегоходу, укрытому тонкой и крепкой синтетической тканью. На ткани лежал слой снега, он потянул, и она подалась, пружиня. Тянул, и с крупным зернистым шорохом ткань сползала со снегохода, с промерзлой седушки, и когда провисала, ощущал сыпучую тяжесть снега.

Завел снегоход. Пока тот грелся, порывшись под навесом, нашел полмешка соли, взял за твердую и одновременно пластилиново-податливую просолевшую мешковину, поставил в багажник и уехал на путик. Когда вернулся, у избушки скакали собаки и желтел снегоход со стрекозьими фарами. Из двери в клубах пара выскочили брат Гурьян с Мефодием и Левой. Глаза у племяшей были радостные и сияющие, а у Гурьяна радостные и возмущенные.

— Здорово, брат! Ты где был? Мы тут с ума посходили!

— Моим не говорили?

— Да нет пока. Хотя времени-то подходя прошло.

— Волновать не хотели, — сказал Лева.

— Ну и правильно.

— Ты где был-то? — снова спросил Гурьян.

— Ну пошли в избу, — сказал Федор.

Вошли в жаркую избу. Федор долго раздевался, стаскивал свитер с плотным, узким, как рукав, воротом, так что сквозь него килем пропечатывался нос. Тащил, и задрался кверху вся бородаща, полностью закрыла лицо снизу, а потом пружинисто вернулась на место. Федор не спеша *развешал* отсыревший свитер на вешалах над печкой («Вы давайте тоже сушитесь — все равно сыреешь в дороге»). Повешал домашние рукавицы с пришитыми тесемочками — завязал их так, что получилась пара — и тоже на палку. Сел напротив брата.

— Ты куда пропал-то? — спросил в упор Гурьян.

— Да тут цела история...

— Ну? — смотрел пытливо брат.

— Летал.

— Как летал? — открыли рты все трое.

— За релюшкой. На Гудкон. Рация задолбала. Вертолет подсел какой-то левый, туринский, что ли, или байкитский, рыбу имя срочно подавай, какие-то сидят, то-о-лстый такой еще мужик в камуляже, рожа такая, — Федор показал руками, — с города, наверно, закусить нечем... — И покачал головой, смеясь... — А у меня рация как раз крякнула, на связь-то не выходил.

Гурьян с сыновьями переглянулись.

— А я слышу гремит, — невозмутимо продолжал Федор, — ишо копошусь с дровами. А он садится. На коргú туда. — Он показал рукой. — Я по забереге побежал туда. Но. А у меня как раз на второй избе ленки, чирь. — Он снова показал руками размер с полено. — Они орут: ждате не будем, у нас теперь все на яшшкь пишется. Ну и полетел.

Федор открыто глянул на слушателей. Сыновья снова растерянно переглянулись и опустили глаза.

— Дак а ты как смотрел-то? — грозно спросил Гурьян Мефодия.

— Дак... — развел руками Мефодий. — Я не ездил туда, я те говорил — там дядя оборвался.

Гурьян с досадой покачал головой и добавил:

— Дак тебя кто ехать заставлял? Вы чо — без техники уже шагу не ступите? Сходить надо было. Вас отправлять... себе дорожке. — Покачал головой и добил: — Там ямки от колес должны остаться.

— Да он ково усмотрит? — возмутился уже Федор. — Это же на коргэ. Там ветрище берет, через полчаса и следа не видно.

— Ну, поня-ятно, — заговорил Гурьян, передразнивая некоего избалованного увальня. — Это же триста метров! Это же пройти надо!

— Я туда по забереге бродком убежал — лыжи-то сохли как раз, их вытаскивать надо было. Ямки... — и Федор улыбнулся, покачал в свою очередь головой. — Иди вон, не веришь, дак там видать поди.

— Да где видать, там передуло все — такой северище катал! — возмущенно сказал Гурьян и отвернулся, а потом, помолчав, спросил:

— Да-к а как ты по забереге убежал, если провалился? Там же промыло.

— Да промыло-то выше. А заберег как раз от ручья, где вода выливалась.

— Я одно не пойму, — говорил Гурьян с напором и напряженно хмурясь, — здесь расстояние пятнадцать километрóв максимум. Вертолет бы как поднесенный бы грохотал, мы бы чо, не услышали?!

Федор пожал плечами и ответил почти возмущенно, но негромко:

— Да-к вы поди на техниках ехали. Не дома сидели... — И отвернулся в свою очередь, а потом снова уставился на брата с пристальным прищуром: — Вы в четверг утром чо делали?

— Так... — сказал Мефодий, который был за дядю потому, что иначе оказывался вороной.

— Это когда было? — подал голос Лева.

— Так... Да в четверг! Как раз в среду Лабаз соболя обдирал. Еще рейсовый был. Чо вы мне рассказываете? — напер Федор.

— Ну вот, тятя! — почти крикнул Мефодий. — Мы как раз мясо везили, на двух «буранах».

— Ну! — развел руками и почти презрительно воскликнул Федор. — Вы еще с утра Перевальному сказали, что в две техники поедете.

Гурьян сосредоточенно посмотрел на каждого из сыновей. И вдруг выпалил:

— Да-к обожди. Какая релюшка, если ты слышал? И Фодя рацию проверил — работат!

Гурьян глядел облегченно и почти весело.

— Да-к она работала, — очень спокойно и нехотя-торжественно ответил Федор и отдельно, мягко-мягко, как в папиросную бумажечку завернул: — *Только на прием.* — И добавил уже заедливым сорным тоном: — Вы чо, не знаете, как релюшка крикат!?

Гурьян с недовольством поглядел на сыновей, будто они во всем виноваты.

— Да-к погоди, — все недоумевал Гурьян. — Да-к а как ты обратно-то? Чо без лыж?

— Но. По своей дороге прибрел сюда, слава Богу. Правда, умучился. Вчера как раз. А седни туда ездил ишшо.

— Как вчера? А... чо так долго-то?

— Да лежал пластом, — сердито сказал Федор. — Спину так скрутило, что не вздохнуть, как грится, не выдохнуть. Видать, продуло у вертолета.

— Но, продуло... — покладисто и уже даже заворуженно кивнул Мефодий.

— Но, — невозмутимо продолжил Федя, — просифонило, пока бродком по корге брел, не одетый добром, еще так повернулся неладно, ка-а-к вступит. Когда залезал, упал короче, за порог-то схватился, а бортме-

шок этот дерганый, трап вытаскивал и мне на палец как раз бросил. — Федор кивнул на палец. — Сойдет теперь ноготь.

Гурьян молчал, только часто смаргивал.

— Ну и как у вас охота нынче? — победно сменил ветер Федор.

— Да так-то ничо, — неопределенно ответил брат.

— Я почему спрашиваю, — уверенно и обстоятельно заговорил Федор, — у меня нынче-то совсем плохо, сам знашь, да еще, слушай, соболь какой-то хитровыдуманый завелся — четыре путика обчистил. Четыре, — он показал на пальцах.

Мефодий с Левонтием буквально подались вперед лицами.

— Да добро б просто обчистил, а именно *запускает* капканы! Я вообще первый раз такое вижу!

Мефодий слевой также надвинулись лицами к отцу. Тому не хотелось рассказывать, как из-за него упустили соболя-вредителя, но он себя пересилил и сказал очень медленно, разжевывая:

— Если бы знал, сколь этот хитровыдуманый нам нервов сжег.

И вкратце изложил историю, как выхаживал соболя вокруг елки, как приехал Мефодий, как уехали в избушку, а собаки ночью бросили соболя.

— Ну, ладно, — сказал увесисто и облегченно Гурьян. — Главное, нашелся. Может, с нами поедет, у нас мазь есть для спины. Ну и... — Он улынулся. — Бражка подходит! На голубике. Отметим. Слава Богу, как гритесь.

— Да не, спасибо. Мне отмечать шибко нечего. Я вот тут домой, правда, собираюсь, тогда, может, заскочу... Скажу, короче.

— А чо домой?

— Да надо там... Проведать. Чо-то беспокойно. — Он потер сердце.

Гурьян с сыновьями уехали. Федор остался с Пестрей. «Брат, конечно, есть брат, — думал он, — беспокоился. И молодец, что панику не поднял. И хорошо, что приехал». Но когда он увидел весь этот аргиш у зимовья, снегоход с нартой, собак — все аж перевернулось внутри. Настолько не стыковалось оно с пережитым.

Федор пытался вернуть утреннее состояние. Вспоминал начало дня. Когда поехал отвозить соль Сохотому в осинник, и первым делом проверил пугик, на котором попала соболюшка. Капканы были рассторожены и именно те, которые он тогда запустил. И оторванную жердушку нашел под снегом — над ней возвышалась снежная колбаска. И ямки виднелись на месте сохотиных следов...

.....

Гурьян ехал за спиной у Мефодия, а Лева в нарточке. Примерно в это же время Нефед ехал по зимнику вдоль Енисея на «Камазе»-бензовозе. Брат Иван ехал на раздрызганном «буране» и вез домой в бочке хрустально-чистую речную воду. А старший брат с посохом в руке тащил на нарточке крепкие листовые чурки — серые с рыми торцами. И врезалась в грудь стеганая лямка.

К вечеру все завершили дела, добрались каждый до нужного места, и вечер всех успокоил, уладил, уравнил сизой пеленой. Погода стояла тихая. Федя включил рацию, а сам вышел и копался у избушки, разговаривал с Пестрей. Кто-то по рации канючил, что «когда не ловятся соболя, хоть на стену лезь», вот и маешься, просишь: «чтоб время побыстрей пошло». Вроде как девать некуда...

— Интересные... Имя побыстрей, — подумал он без укора. — А тут только бы рассчитаться со всеми... Ведь мне... Ведь мне по гроб жизни теперь дела хватят... Но спёрва сына увидеть!

Работал аккуратно и вдумчиво, боясь уронить, нарушить чудный и обострившийся строй жизни, а войдя в избушку, разоблачился, все аккуратно развешав по местам, и неторопливо, сев на нары, снова, дыхнув туманом, протер ламповое стекло и зажег лампу. Перед трапезой помоллся. Потом переговорил с братом, чтоб тот (ему ближе) с домом связался, пусть Анфиса переговоры назначит на завтра где-нибудь «днем, когда никто не базланит». Потом лег и почувствовал, как налегает расслабленно сон, и с облегчением вековой усталости отдался светлomu его наваждению... Сон был целительный, и, погружаясь, Федор чувствовал свежую струю его силу.

Снилось поначалу по мелочи что-то подсобное, близкое — все кусочками, обрывками, но и сквозь них вздымающая тяга продолжала наполнять душу, а потом вдруг запел ветер в чьем-то пере, засквозили внизу звездовидные кроны лиственней, и оказалось, что снова летит Федор над тайгой, распластавшись на птичьей спине. И поначалу хорошо и ясно летится им по-над далью, а потом вдруг дрябнет воздух в слабеющих крыльях, и Глухарь поворачивает к Федору бородатую голову, глаз цвета кедровой смолы, алую бровь и кричит: «Читай, читай, а то тяга падает!» А Федор как ждет и, глотнув неба, начинает:

Эх, славно лететь по-над домом на крепнущих крыльях, глядя на землю, что кормит и греет, снаряжает делом по самое горло, дает сильному окорот, а слабому спасение. Славно хранить нажитое душой в испытаньях и бедах, и учить изболевшее сердце отличать, где добыча, где промысел. Славно набрать на промысел доброго чтения, книг, старинных излистных, в бранях духовных и жизненных пережитых, ибо ничто не укрепляет так душу, как память о предках и их немеркнущих подвигах...

— Ну что, друг мой пожизненный? Легче тебе!? — спрашивает Федор.

— Легче! — гулко отвечает Глухарь и налегает на воздух крылами.

— Тогда поехали!

Почти все птицы улетали из дому на зиму, бросали его выстывающие своды, утопающие в снегах стены, двери, продутые ветрами. Оставались только поползни, синички, дятлы да кедровки и вороны — со всей птичьей братии всего десятка два неперелетных. Реденько жили они в этой зимней полутемной тайге, где и солнце-то светило в полсвета, прибрав фитиль — а что стараться, коли жильцов раз-два и обчелся. Совы и ястреба откочевывали, не говоря про орлана, а из крупных оставался только глухарь, с двоюродными братьями косачом и рябчиком, да кочевая куропатка. Но если даже и косачи пытались кочевать, шарились по тайге, то Глухарь, облюбовав тундрочку, так и жил на ней до конца дней пристойно, удивляя таежных граждан хозяйственным строем и мудрым словом, которое он находил для каждой пичуги.

Глухарь, как главный и уважаемого жителя, птичье руководство, улетая, не раз звало с собой, мол, эти-то дятлы-поползнь, с имя ясно, одно слово долбачи, а ты-то птица с понятием. Полетели с нами. Отдохнешь культурно, перезимуешь по-человечьи. Познакомим с кем надо. Не брезгуй, видишь, предлагаем, значит, знаем, чо-ково. Да только смотри, не пожалей потом. Ты поди сказки-то читал, там же черным по белому сказано — глухарь со всеми не полетел, один остался, да так пригорюнился, что глаза проплакал, аж брови красные стали!

«Дак это ж сказки, там и глухарь то лентяй, то дурень надутый. И проплакал-то глаза, а покраснели брови почему-то. Так что нестыковочка, хе-хе»...

Глухарь хоть и отшучивался, а на самом деле только мрачнел от таких разговоров и жил себе, как жил — за свой счет, не зарясь на чужое добро и края, а тех, кто весной возвращался, встречал немногословно и без упреков.

Хотя по молодости был случай: как-то совсем плохо зажили птицы в тайге: воровство, неблагодарность, небрежение к земле и друг к другу — аж крылья жить опускаются. И так рьяно уговаривал его лететь орлан-белохост, что Глухарь было и полетел. Но едва поднялся, как увидел в повороте сквозящую под крылом тайгу, убеленную первым снежком, реденькую и стройную, так и защемило глухариное сердце, и, описав широкий круг, вернулся он на родную тундрочку, похолодев не от студеного воздуха, а от осознания того, что он чуть было не натворил. И уже точно зная, что если и покраснеют у кого глаза, то не от зависти к улетевшим, а от любви к промороженной, прекрасной и одинокой этой земле. А особенно проняли его синички, которые так же попискивали в елке и так же искренне ему радовались — им и в голову не пришло, куда он полетал.

С тех пор каждую осень в морозный день Глухарь отправлял свою роду на последний галечник добрать на зиму мелких камешков, а сам совершал облет тайги, чтобы отдать дань памяти тому утру, расставившему все по местам, и долг небу, наладившему на путь. И каждый раз старался взлететь выше, чтобы охватить взором как можно больше дали и напитать душу простором, которого так не хватает в повседневности. Так и летал он каждый год и уже не представлял осень без этого полета.

Он поднимался на сопку и садился на самую высокую листвень. И сидел, с волнением озирая простор и думая о трудной и счастливой своей доле, а потом бросался, закрыв глаза и обнимая крылами морозный воздух, в прозрачную даль, и та подхватывала его и дышала, сокращалась, светлой судорогой участвуя в крепнущих этих взмахах-объятьях.

Плоскости ходили мощной и частой чередой. Поначалу Глухарь работал ими без передышки, а потом выходил на походный строй, ходовой режим: уменьшал частоту отмашки и вертикальный ход крыла. Когда взлетал — крылья ходили вверх-вниз глубоко, а потом укорачивали верхний выброс, потолок замаха и, выпукло изгибаясь, все больше работали книзу, будто отрагивая воздух, доминируя до какого-то незримого упора и тут же отрывисто отпускаясь, словно боясь пристыть.

Крылья были настолько прекрасны, что воздух, ими умятый, уплотнялся, как снег под лопастью березовой лопатки, и твердел от одного прикосновения, чтобы навсегда запомнить их летучую поступь. А крылам казалось, что это родной воздух так немислимо прозрачен и опорист, и что главное — в него верить и себя не жалеть. И на каждом взмахе с нижней оборотной стороны птичьего тела огромные и тугие грудные мышцы сокращались могуче и трепетно, как два слаженных сердца. Прикрепленные к тонкому килу грудины, они длились в крылья и через них ощущали упругую стать неба и не понимали, где заканчиваются пальчато-растопыренные маховые перья и где начинается даль, которая так же пальчато входила в окончания крыльев, образуя с ними сквозистый замок. Так и летел над горной восточно-сибирской тайгой Глухарь, и так хорош был союз каленого воздуха и древней праведной птицы, что крыла ее, казалось, набирали смысла с каждым взмахом и оставляли прозрачные оттиски в небе и вечности.